

...Жёлтые листья кружились в жемчужном, с прожилками яшмы и серебряной нитью, воздухе над головами прохожих. Синева небес была яркой. Солнце грело. И люди шурились, на источник света поглядывая, рассиявшийся наверху. Ну а понизу чуть сквозило ветерком, и асфальт высыхал на удивление быстро, хоть по углам, в тени, и поплёскивали зеркалами, опрокинутыми случайно, малочисленные, небольшие, уцелевшие после дождя, отшумевшего ночью, лужицы, отражавшие небо с листьями, лица, стены, витрины, окна, и меж ними ходили голуби, не боявшиеся людей, и шныряли в поисках пищи воробьиные шустрые стайки, а поодаль, за кровлями, там, за Кремлём, за Москвой-рекой, вырастала, густая в пространстве, грядущая хмарь, но её замечать никому не хотелось, и время, щадя округу, от щедрот своих, пусть ненадолго, не спешило напомнить об этом, и город вставал на пути её неприступной старинной крепостью, всех от невзгод защищая, непогода ли это, беда ли какая, зима ли суровая, битва ли это жестокая, череда ли забот предстоящая, мало ли что, но тепла в нём ещё хватало для всех.

Осенью шестьдесят третьего, в октябре, опьянённый своими прогулками по столичным солнечным улицам, шёл я в центре, мимо кафе «Дружба», между Неглинкой, тихой и малолюдной, и довольно шумной Петровкой. Навстречу мне шли неспешно двое людей незнакомых и о чём-то своём разговаривали. Видно, двое хороших приятелей. Один, с буйной гривой вьющихся, густых, смоляных волос, глядящий куда-то вдаль, прямо перед собою, но выше людских голов, горящими жарким пламенем, тёмными, южными, бархатными, но словно слегка обутленными, скорбными или грустными, трудно сказать, глазами, смугловатый, среднего роста, легко и свободно шагающий по тротуару, какой-то с виду очень уж необычный человек, тридцати пяти, приблизительно, лет, не больше, двигался вроде и рядом со своим разговорчивым спутником, но и совсем отдельно от него, бубнящего что-то неразборчивое, и тем более отдельно от всей толпы людской, от всех, от всего, что было вокруг, совершенно независимо, сам по себе, в порыве, словно вот-вот раскроются сильные крылья у него за плечами, и он взлетит, устремится ввысь, и настолько был он, подумалось, ни на кого не похож, настолько своеобразен,

красив какой-то древней, тонкой, резной, индийской или же украинской, породистой красотою, настолько был не из этого времени, не из этой реальности, не из этой вот повседневной, московской, привычной всем и каждому, толчеи, что я, глубоко поражённый, даже остановился. Спутник его, человек нескладный, несколько взвинченный, может и вдохновенный, по-своему, так бывает, но всё равно почему-то более прозаичный, высокий, на вид помладше, лет около тридцати, в сползающих на нос очках, со спутанными ветерком, всклокоченными вихрами, на ходу, на каждом шагу, поворачивался к приятелю и настойчиво, непрерывно что-то ему говорил. Темноглазый красавец шёл молча, слушая своего спутника разговорчивого, но будто бы отделённый от него и от всех его слов некоей ощутимой, пусть и незримой, стеной. Двое странных весьма незнакомцев приближались уже ко мне. Очкастый, явно подвыпивший, довольно громко, с утрированным, театральным каким-то пафосом, темноглазому говорил:

– Нет, Коля, я всё понимаю. Я понимаю, Коля, ты – гений. Живой. Настоящий. Ты гениальный поэт. И ты столько уже написал! Но жить, Коля, как-то ведь надо! На что-то ведь надо жить! Существовать. Питаться. За жильё аккурратно платить. Выпивать иногда, как все люди. Ездить куда-нибудь. Я понимаю. Да. Всё понимаю прекрасно. Ты живёшь в своём мире. Ты его создал. Это твой мир. Но годы идут, Коля. Никто тебя не печатает. И не собирается, судя по всему, и в дальнейшем печатать. А ты всё пишешь да пишешь. Ну да, ты гордый у нас. Царская кровь! Порода! Но ты оглянись вокруг. Спустись с облаков на землю. Ты где живёшь? И в какой стране? И в каком времени? Эх, Коля, Коля, дружище! Вот смотрю я сейчас на тебя – и грусть меня снова охватывает. Ну, хорошо, ты ещё достаточно молод. А дальше? А что дальше? Ну что? Надо ведь что-то делать! Надо как-то, видать, пробиваться! Возьми Евтушенко, Женю. Ты с ним учился вместе в Литинституте. Я с ним учился. Выбил парень! И разве можно его стихи с твоими сравнить? Ты, обладатель таких дивных, несметных сокровищ, пребываешь в полной безвестности. Ну, знают стихи твои друзья. Ну, ещё кое-кто. А Женя-то значит. Его-то весь мир знает. Он пробился. А ты и не думаешь пробиваться. Не хочешь, и всё тут. Живёшь себе и живёшь. Пишешь и пишешь. Надо ведь что-то всё-таки делать, Коля!..

Темноглазый красавец молчал. Ничего не ответил он своему очкастому спутнику. Он только вдруг побледнел, у меня на глазах, высоко закинул кудрявую голову, и глаза его вспыхнули жарким, солнечным, звёздным огнём. Так, с закинутой головою, словно птица в свободном полёте, разливая вокруг себя исходящий из глаз его жар, прошёл он, вместе с приятелем, отдельно и от него, и от всех остальных в толпе, мимо меня, потом через Неглинку, и дальше, на Кузнецкий мост, и всё выше по Кузнецкому, выше, туда, где меж крышами зданий проглядывало удивительно синее небо, и скрылся там, вдалеке. Только позже, в семидесятых, понял я, в озаренье мгновенном: это был Николай Шатров.

В начале семьдесят пятого, посреди тогдашних бездомцев, познакомился я и вскоре подружился с Женей Нутовичем, знаменитым коллекционером, собравшим за многие годы замечательную коллекцию современной, нашей, отечественной, авангардной, запретной живописи. Это была одна из лучших коллекций в стране. Убедился я в этом сразу же. Своего тогдашнего мнения не собираюсь менять и ныне. Что есть, то есть. И едва я взглянул на Нутовича, как в ту же секунду признал в нём очкастого, разговорчивого спутника темноглазого красавца, в незабываемом для меня октябре шестьдесят третьего, между Неглинкой и Петровкой, солнечным днём. Не удержавшись, я тут же поведал об этом Жене. Став серьёзным, он призадумался. Уставился сквозь очки свои вдаль, словно пристально глядявываясь в дорогое, минувшее время. Потом убеждённо сказал:

– Конечно, всё совпадает, это были мы с Колей Шатовым.

– Вот видишь! – сказал ему я.

– Но как ты всё это запомнил? – изумлённо спросил Нутович.

– Запомнил! – ответил я. – Нельзя было не запомнить.

Мы сидели с Женей вдвоём, в самой большой комнате, заполненной, плотно увешанной, от потолка до пола, замечательными картинами. Целков, Кабаков, Соостер, Мастеркова, Немухин, Рабин, Харитонов, Зверев, Плавинский, Слепешев, Кропивницкий, подаренный мной Ворошилов... Кого же там только не было! Не квартира – крупный музей. Выпивали, понятное дело. Женя был человек пьющий. Он меня приютил у себя. Сам отлучался частенько, то к матери, то ещё куда-нибудь, ненадолго, или надолго, по-всякому выходило, давно привык. С женой был Женя в разводе. Супругу его, пусть и бывшую, я так никогда и не видел. Говорили: собой хороша. Был я в его трёхкомнатной квартире таким стражем при коллекции первоклассной. Зато на зимний холодный период, в пору бездомцев, был у меня и ночлег. Почему же не угостить, иногда, уж как получается, по своим возможностям скромным, приютившего вдруг меня, скитаниями многолетними порядком уже измотанного, у себя в московской квартире, от души, добро-

вольно, искренне, хорошего человека? Дары мои выпивонные Нутович всегда принимал как нечто само собою разумеющееся. Любил он, выпивая неспешно, с толком, обстоятельно побеседовать со мною на самые разные, нередко полярные темы, где хватало и тьмы низких истин, и, за ними, немедленно, нас возвышающего обмана, и мистического тумана, и стихов, что вовеки не странно, и легенд, без оков и прикрас. Женя выпил ещё глоток и спросил меня, с тёплой, почти задушевной, протяжной ноткой в сипловатом, простуженном голосе, что бывало всегда у него самым верным, первейшим признаком лирического, с вариациями различными, настроения:

– А скажи мне теперь, Володя, ты Колю Шатрова знаешь хорошо или так, немного?

– Виделись иногда, – сказал я, – но дружба у нас не возникла. Уж так получилось. Я – сам по себе. Он – сам по себе. Две планеты разные. Два разных мира, вернее.

– Да, – сказал Нутович задумчиво, – так бывает в жизни, бывает. А вот странно! Смотри, как выходит. Поскольку я нынче стихи твои знаю уже основательно, то, Володя, тебе говорю откровенно и прямо: ты гений. Познакомился я с тобой недавно. И вижу, что наше знакомство переходит в хорошую дружбу. Колю Шатрова я знаю очень, очень давно. И давно считаю: он гений. А теперь ты, Володя, скажи мне: почему два таких поэта, как вы с Колей, живя в одно время и зная одних и тех же, примерно, людей в Москве, ну, пусть и не всех он знает, кого знаешь ты, у тебя круг знакомых побольше, но всё-таки почему же вы не подружались?

– Господи! Ну и вопрос! Так и знал, что его услышу, – сказал я тогда Нутовичу. – Но ты ведь прекрасно, Женя, понимаешь, что так бывает. И не так ведь ещё бывает. Хорошо, что живы мы оба. И на том спасибо. В трудах дни проводим, каждый по-своему. А в дальнейшем – кто его знает? – может, и дружба возникнет. Я себя сроду, известно всем, никому никогда не навязывал. Коля, как вижу я, тоже. Друг другу мы не мешаем. Существоем, каждый из нас отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга. Так уж вышло. Такая судьба.

– Судьба! – согласился Нутович. – Вот именно. Так я и думал. Судьба. Да. Везде – судьба.

Он шумно вздохнул. Налил себе вина в стакан, до краёв. Помедлил. И разом выпил.

Я встал. Подошёл к окошку, разукрашенному затянувшейся стужей, в палехском духе. Походил немного по комнате. Открыл запылённую крышку пианино, взял несколько джазовых аккордов. Потом присел за старенький инструмент, стал негромко играть.

Женя, опять вздохнув, налил себе новый стакан, до краёв, конечно, вина.

– Ты Гершвина, колыбельную, из «Порги и Бесс», ну, ту самую, сегодня можешь сыграть? – спросил он меня задумчиво.

– Могу! – откликнулся я.

И заиграл эту вещь, не гершвиновскую, кстати, не им самим сочинённую, но им когда-

то записанную, превосходно аранжированную, вышедшую на свет из негритянских распево. Я и сам её очень любил.

Женя снова вздохнул и сказал:

– А давай позвоним Коле Шатрову! Он у своей Маргариты, недалеко от меня, живёт. Пусть придет! Выпьем. Поговорим. Стихи почитаете, оба. И подружитесь, полагаю.

– Звони! – согласился я.

Нутович, стакан отодвинув, потянулся рукой к телефону. Быстро набрал номер.

– Алло! Маргарита? Приветствую тебя. Это Женя Нутович. Скажи мне, а Коля дома? Что, что? Не слышу. Он в Пушкино? На даче? В такой-то холод? Ну, это в шатровском духе. Снова пишет? Ну, молодец. Ты ему передай, что звонил Нутович. Мы у меня, вместе с Володицей Алейниковым, поэтом. Да, да, с тем самым. Знаешь? Вот и чудесно. А Коля когда появится? Что? Не скоро ещё? Ты сама едешь к нему? На ночь глядя? Ну, тогда привет передай. От нас обоих. Пусть пишет. Созвонимся потом. До встречи!

Он, вздохнув, положил трубку.

– Жаль, что не вышло встретиться с Колей прямо сейчас!

Уж так ему, видно, хотелось этого нынешним вечером.

– Ничего, не переживай, – сказал я. – Ещё увидимся.

– Увидимся! – согласился Нутович. – А так мне хотелось, представляешь, чтобы мы встретились!

– Всё успеется, Женя, – сказал я. – Всё у нас ещё впереди.

– Да, – согласился Нутович, – всё у нас ещё впереди.

Впереди были два, всего-то, года жизни у Коли Шатрова. Но разве тогда, зимой, посреди холодов и снегов, оба мы знали об этом?

...Время вдруг разъялось – и я увидел себя, измученного, совершенно больного, в бреду, в невероятном семьдесят седьмом, Змеином году, в дни бездомниц, на склоне марта. Каким-то непостижимым образом, не иначе, даже не волю, наверное, собрать умудрившись в сгусток энергии, не поддающейся логическому толкованию, а что-то куда выше воли, и тем более выше упрямства простого, тогда я добрался до Марьиной Рощи, в дом, находящийся неподалёку от чудесной церкви Нечаянная Радость, близко совсем от того, среди пятиэтажек и дворов пустоватых, места, где мой друг Леонард Данильцев познакомил меня когда-то с Игорем Ворошиловым, и знакомство это немедленно, по счастью, стало началом нашей дружбы, высокой и светлой, с этим великим художником, – добрался я, перемогая себя, на авось, по чутью, к Виталию Пацюкову, в давние времена, и особенно в шестидесятых, тоже другу, так я считал. Я добрался туда, в жару, с трудом держась на ногах. Пацюков приютил меня. Уступил мне комнату маленькую в своей обжитой, двухкомнатной, довольно уютной квартире. Там, в окружении множества книг и хороших картин, стояли письмен-

ный стол, стул и узкая, старая, низенькая табуретка. И я, обессиленный, сразу же просто рухнул на эту тахту. Пришлось мне, как говорят в народе простом, несладко. Трое суток не мог я подняться. Ничего совершенно не ел. Только изредка пил воду. Пот холодный лил с меня так, что тахта промокла насквозь. Я не спал. Пытался заснуть. Почему-то не получалось. Странные состояния, пограничные, между явным и сном, – да, вот это было. Мне надо было теперь обязательно перебороть болезнь, в которой, наверное, всё собралось воедино – простуда сильнейшая, боль, безысходность, усталость безмерная, физическое истощение, нервное напряжение, от всех моих затянувшихся, кошмаром ставших бездомниц, отчаяние, тоска, надежда на чудо, – всё, всё. Я попросил хозяев, друзей моих, то есть Виталия и Светлану, его жену, слишком уж не пугаться, не переживать за меня, врачей никаких, что бы ни было со мною, не вызывать, а просто дать мне возможность отлежаться в тепле, в тишине, оставить меня одного на какое-то время в покое. Кажется, Пацюковы правильно меня поняли. Не на улицу ведь меня, захворавшего, выпроваживать, да ещё в таком состоянии! Приютили меня, слава Богу. До выздоровления. Временно. И на том спасибо. Тогда я это очень ценил. И я, друзьями оставленный смиренно, с самим собою наедине, в отдельной, с книгами и картинами, с окном занавешенным, с дверью приоткрытой, на всякий случай, маленькой, тихой комнате с погашенным светом, лежал на узкой тахте и бредил. Тяжко пришлось мне, что там теперь такое скрывать. Подумывал даже: выжить бы. За окнами разгулялась всюю холодная, влажная, позднемартовская, тяжёлая, затяжная, безбрежная непогодь. Я лежал на узкой тахте, в одиночестве, в темноте, в тишине, среди книг и картин, и перемогал болезнь. Меня посещали всё время видения, невероятные, непрерывно, как в киноленте отдельные, частые кадры, сменяющиеся, мелькающие, чередующиеся с какой-то непонятной совсем быстротой, развёрнутые в каком-то неизвестном, странном пространстве, возникающие в каком-то совершенно ином измерении, чем привычные нам, земные. Помимо болезни моей, томило меня и мучило ещё и предчувствие острое неоправимой беды, которая, может быть, даже произошла уже или вот-вот, мерещилось, внезапно произойдёт с кем-то из очень хороших, дорогих для меня людей. Видения надвигались, накатывались, наслаивались, наползали одно на другое, смешивались, клубились, исчезали, опять возникали, стремительно, без перерывов. Я слышал чьи-то знакомые голоса. Слышал громкие крики. Потом, нежданно-негаданно, что-то вдруг меня с места сорвало, подняло высоко над землёю – и вынесло прямо в космос. Там, на виду у нашей многострадальной планеты, мерцавшей внизу, в черноте, поистине беспредельной, невыразимо огромной, происходили действительно небывалые, странные вещи. Там снимали какой-то фильм. Это была мистерия. Почему-то я вмиг это понял. Не драма и

не трагедия. Эти жанры здесь не годились. Мистерия. Именно так. Режиссёр знаменитый, Андрей Тарковский, в клетчатой кепке, в распахнутой кожаной куртке, с шарфом на птичьей шее с выпирающим кадыком, скуластый, черноволосый, весь в движении, упоенный дивным ритмом, редчайшей возможностью что-то важное для него прозревая в происходящем, тут же снять его, руководил съёмками кинофильма. С металлическим, серебрившимся рупором в быстрых, вытянутых куда-то вперёд руках, летал он меж оператором со стрекочущей кинокамерой и актёрами, среди которых то смутно, то более чётко, различал я знакомые лица. И вот уже прямо на съёмочную площадку, в пёстрый сумбур её, в ледяном созвездий мерцании, в космической черноте, ворвалась откуда-то издали, извне, из других галактик, чудовищная, по мощи и по размаху, сила, стихия, вселенская буря, скопление тусклых шаров, раздробленных, острых камней, песчинок, метеоритов, обломков прекрасных зданий, разнообразных предметов, обиходных, самых простых, и загадочных, неземных, иглок с длинными нитями, изорванных книжных страниц, свёрнутых в трубки свитков, статуй, осколков зеркал, невероятное месиво, жуткое завихрение, и надвинулось вмиг на всех, и Тарковский метался в космосе, и кричал отчаянно в рупор: «Снимайте! Скорее снимайте!...». И фигуры людей закружились в черноте, в мерцании звёздном, – ну в точности как на картинах моего тогдашнего друга, печального ясновидца, родом из-под Чернобыля, Петра Иваныча, Пети Беленка, художника, видевшего наперёд, и такое ведавшего, чего не знали другие, – всех куда-то наискось, в сторону, в глубь, за хрупкую грань реальности, что-то стало вдруг уносить, и унеслись киносъёмки в неизвестность, словно в воронку, вместе с ужасным, всеобщим, хаотическим завихрением. И услышал я крик: «Маргарита! Отвори мне скорее кровь!...». И тогда показалось мне, что это голос Шатрова. И возникла чудесная музыка, светлейшая, непохожая на всё, мною ранее слышанное. Музыка длилась и длилась. «Николай!» – раздался откуда-то громкий, спокойный голос. И другой, вслед за ним: «Шатров!». И потом прозвучало: «Царь!». Я всё это слышал отчётливо. Был в бреду. Посреди видений. Но Шатров, носивший фамилию материнскую, так получилось, по отцу был Михин, потомок, это знали все мы, Ивана Калиты, то есть царской крови. Калита – из скифского рода. Много скифов было когда-то на Руси, много было в Москве. Отсюда и характерная, бросающаяся в глаза шатровская, смуглота его, красота, восточная, южная, древняя. Обрывки этих и прочих, подобных соображений проносились роем в мозгу. Их сменялись видения, новые, надвигавшиеся непрерывно. Всё усиливалось ощущение разрастающейся тревоги. Боль была слишком сильной, просто невыносимой. Меня лихорадило, в жар бросало, знобило, крутило. Я то стонал иногда, то упрямо стискивал зубы и молча лежал и терпел. День сменялся кошмарной ночью, ночь

сменялась кошмарным днём, а я всё бредил, и всё ещё мучительно выживал посреди бесконечных, бессонных, измотавших меня видений. И вот, сам не зная, зачем, почему я, больной, это делаю, нашарил я в темноте листок бумаги и ручку – и набело записал, почти вслепую, на ощупь, четыре стихотворения, мистических, как оказалось, и сверху потом написал название странного этого цикла: «Водни беды». И случайный листок бумаги с неизвестно зачем записанными на нём в потёмках стихами, вместе с ручкой, сразу же выпал на пол, вниз, у меня из рук. То ли я потерял сознание, то ли всё-таки, может, заснул. Утром я очнулся, уже отчасти поздоровевший. Мне было неловко, что я, поневоле, ведь не нарочно, потревожил чету Пацюковых. Извинился я перед ними. Сказал им, что постараюсь вскоре уйти от них. Но куда идти? И к кому? Да ещё в таком состоянии. Телефон был рядом. Пришлось хоть кому-нибудь позвонить. Механически я набрал застрявший в памяти номер одного своего знакомого, который порой позволял мне пожить, на птичьих правах, недолго, в его квартире. И услышал голос его: «Вчера мы похоронили, вот беда-то, Колю Шатрова...». Трубку выронил я из рук. И увидел, внизу, на полу, возле тахты, где я мучился посреди видений, в бреду, и сражался за жизнь, исписанный мною листок бумаги. Поднял его. Прочитал стихи свои. И – всё понял. С трудом изрядным собрался. Попрощался любезно с хозяевами. И ушёл – куда-то вперёд. В пространство. Или сквозь время. В боренья свои – с недугами, видениями, кошмарами. В бездомицы. В явь столичную. На звук вдалеке. На свет...

Через год Маргарита, вдова Шатрова, когда рассказал я, вкратце, без многих подробностей, ей о своих видениях и показал записанные тогда, в конце марта, стихи, голову подняла высоко – и грустно сказала:

– У Коли был сильный приступ. Он закричал: «Маргарита, отвори мне скорее кровь!». Я растерялась тогда. Ничего я не понимала. Вчера только был он вполне, так думала я, здоров, как раз, похудевший, спокойный, вышел из голодания, целый месяц ведь голодал. И его Кириллов с Ширялиным, знакомые люди, нормальные, вроде бы, так я считала, уговорили выпить. Домашняя самогонка, очень чистая, уверяли, что целебная даже, возможно, не пробовала, не знаю, не пью и другим не советую, настоящая на травах. А на следующий же день ему стало внезапно плохо. Я испугалась. Очень. Совершенно не знала, как вести себя, что мне делать. Вызвала по телефону врачей. Приехала к нам «скорая помощь». Коля в тяжёлом был состоянии. Его увезли в больницу. Там, в тот же день, он умер.

И Маргарита надела на свою сухую, точёную, тёмноволосую голову воображаемой королевы, приготовленную заранее, в обычной сумке, с которой ходила она везде, в одиночестве королевском, в роли вдовы поэта великого, несравненного, который сказал ей однажды: «Когда я умру, ты увидишь сама, что нач-

нётся тогда», собственноручно сделанную ею, изящную, лёгкую, как в детской игре, корону. Маргарита всегда её надевала, когда приходила в гости к своим знакомым. Картонная, королевская, корона, сверху оклеенная конфетной, блестящей фольгой. Отчасти, можно подумать, карнавальная, игровая. Отчасти же – отдающая безумием, роковая.

Король со своей королевой. Николай со своей Маргаритой. Она так давно считала. Так всегда говорила. На стене её дачного домика в Пушкино, деревянного, вроде скромного теремка или старенького скворечника, – сказал мне кто-то, сгоревшего, больше не существующего, но так ли это, не знаю, – нарисованы были, помню, король со своей королевой. Разумеется, оба – в коронах.

Маргарита была художницей. Годами делала кукол. Каких-то я, кажется, даже видел. Но не запомнил. Маргарита была блаженной. И практичной – как-то навыворот. Что ни делает – всё не так. Но старалась всегда – держаться. Она была старше Шатрова. Лет на десять. Никак не меньше. Но существенной разницы в возрасте никогда она не замечала. Колю она любила страстно, преданно, самозабвенно. И очень уж своеобразно. Как никто никого не любил.

Шатрова похоронить хотел возле церкви, в которой служил он в семидесятых, отец Александр Мень. С этим известным священником Шатров дружил и частенько, по-соседски, к нему заживал, когда жил на даче в Пушкино. Староста церкви, дама без имени и фамилии, решительно воспротивилась тому, чтобы здесь, у храма, какого-то там подпольного, неизвестного ей поэта, даже если на этом настаивал сам священник, похоронили. И тогда Шатрова – сожгли. Как давно предсказал он в стихах своих. В крематории. В пламени страшном. Урну с прахом – вручили вдове.

Урну с Колиным лёгким прахом, светлым пеплом, от жизни оставшимся, королевским, вернее, царским прахом, духом, вздохом по прожитым вместе с мужем счастливым годам, по любви, по женскому счастью, Маргарита держала долго при себе, у себя дома. Чтобы рядом супруг был всегда. Когда она, время от времени, отправлялась куда-нибудь в гости, то неизменно с собой, в сумке или в пакете, и урну с прахом прихватывала. Придёт, бывало. Накрашенная. Принаряженная. Причёсанная. На свою точёную голову корону тут же надеет. Урну с Колиным прахом достанет из сумки или пакета – и сразу её на стол, на самое видное место. И приветствует всех собравшихся с достоинством, по-королевски:

– Здравствуйте! Мы к вам сегодня в гости с Колей пришли!..

Некоторые мнительные, с воображением развитым, пожилые, седые граждане, и не только они одни, но даже, куда уж дальше, зелёная молодёжь, и особенно, разумеется, чувствительные сверх меры и до крайности впечатлительные, из числа поклонниц шатровских былых, из числа любительниц поэзии, милые дамы, немедленно падали в обморок.

С Маргарита, высокая, стройная, королева, да и только, блестя глазами, одной рукой прижимая как можно крепче к себе урну с Колиным прахом, другой рукой грациозно правляла свою корону, и читать принималась всем, по памяти, с выражением, королевским, звенящим золотом, хорошо поставленным голосом, шатровские, удивительные, провидческие стихи.

Потом, по прошествии некоего, довольно долгого, времени, она, королева вдовая, всё-таки захоронила бесприютный шатровский прах. Потихоньку. Втайне от всех. Нелегально. Без всяких формальностей. На Новодевичьем кладбище. В месте привилегированном. Там, где давно покоится отец её, крупный советский деятель времени сталинского, латыш, человек суровый и надёжный, Рейнгольд Берзинь. В уголке вроде каком-то закопала урну. Под боком, под опекою, у отца. Пусть её король там лежит. Уж она-то об этом знает. Остальные – это неважно. Тихо, мирно, самостоятельно, никого ни о чём не спрашивая и тем более не упрасивая, не вымаливая позволения на такое вот захоронение, как вдове у нас полагается, и тем более – королеве, предала она прах поэта, как сумела, сама, земле. О чём впоследствии мне однажды и рассказала, чрезвычайно собою довольная.

Вот такая – о, Боже! – история. И такая, представьте, судьба. Наивысшая категория. Сон – вне яви. И – пот со лба. Что ни шаг, то сплошная мистика. (Россыпь строк на пространстве листика). Что ни взгляд, зазеркальный знак. (Не собрать их теперь никак). Что ни слово, астральный свет. (Путь сквозь век. Череда примет). Кто сумеет – собрать, сберечь? Ночь пройдёт. Возвратится – речь.

А потом, уже в девяностых, Маргариту просто ограбили. Расстарался некий субъект. Ей самою же и назначенный, а зачем, поди разберись, неизвестно откуда свалившийся на её королевскую голову, беспронырливый, или монстр натуральный, из как бы времени, по её же наивному мнению деловой человек, рассудительный, обещальщик-душеприказчик. Всё забрал у неё, подчистую. Рукописи, фотографии. Всё, что связано было с Шатровым. В мешки всё это сложил – и утащил. С концами. Об этом поведали мне друзья шатровские старые.

Магарита – не Берзинь, а Димзе. Почему – её не расспрашивал. Пострадала семья. Репрессии. В лагерях намучилась мать. Маргарита звонит иногда. Уж не знаю, цела ли корона. Тяжело мне с ней говорить. Жаль её. Но за Колю – больно.

Маргарита недавно звонила. Она почему-то решила подарить мне шатровский костюм. Шведский костюм. Целёхонький. Тот самый, один-единственный из всей одежды имевшейся – приличный, в котором Шатров, Бог знает, когда, лет сорок назад или даже больше, надев его специально, чтобы выглядеть посolidнее, оправился как-то к поэту хорошему, с трудной судьбой, сибиряку, Леониду Мартынову, в гости, в надежде, что тот ему,

понимая в стихах, глядишь и поможет в публикациях, но Мартынов, едва завидев костюм, немедленно заявил, что для бедствующего поэта, совершенно не издающегося, это слишком шикарно – и в помощи Шатрову тогда отказал. И вот Маргарита вспомнила, через столько лет, о костюме: «Возьмите его, Володя! Он вам как раз впору. Вы с Колей одной комплекции. Костюм совершенно новый!..». Ну что на такое скажешь? Не нужен мне этот костюм!

Когда-то, в былые годы, когда мы, с моей женой Людмилой и нашими маленькими славными дочерьми, жили дружно, но крайне бедно, и носить мне и в самом деле иногда было просто нечего, а купить в магазине одежду, даже скромную, просто не на что, Маргарита пришла к нам однажды в гости и подарила мне шатровский старый костюм, который, как оказалось, в свою очередь, встарь когда-то подарил ему друг его добрый, знаменитый тогда пианист Софроницкий, и я, от безвыходности, костюм этот, серый, потёртый, какое-то время носил, а потом перестал носить. И ещё она, в те же, далёкие, времена глухого безвременья, подарила мне, от щедрот своих, старый шатровский плащ, широкий, зелёного цвета. Я его так ни разу и не надел. Вроде цел он. Да, висит, всё же память о прошлом, в шкафу, у меня в Коктебеле.

Сам я сделал немало достойных публикаций стихов Шатрова. Это, в общей сложности, целая книга, очень хорошая. Но Маргарита мои старания не оценила. Похоже на то, что она, вдова-королева в короне, так толком и не поняла, за все прошедшие годы, что некоторая часть наследия литературного её покойного мужа, с трудом, но всё-таки издана.

Шатровская дочь, Лелиана, вовсе не Маргаритина, хрупкая, как Офелия, с виду – белая лилия, лунною ночью расцветшая в тиши – давно умерла. Сын шатровский, Орфей, тоже не Маргаритин, живёт, насколько я помню, в Калуге. Я видел его. Он очень похож на Шатрова.

На могиле Шатрова я не был. Был ли кто-нибудь там, вообще? Как найти её, если нет опознавательных знаков? Стоять у могилы Берзиня и думать, что там, где-то сбоку, с краешку, нелегально, лежит Николай Шатров – или, верней, его прах?

Мистика, да и только. Бред. Видения. Знаки. В небе – лунная долька. В почве – пепел и злаки. В песнях – доля и воля. В жизни – любовь и вера. Звёзды. Кристаллы соли. Символы да химеры.

И всё это сам Шатров – при жизни ещё, провидчески, в стихах своих, и особенно в стихах своих лет последних – давно уже предсказал. Был – настоящим поэтом. Жил – несладко, нескладно. В речи своей – остался. И время его – впереди.

К СМОГУ – имел отношение. Не всё принимал – у Губанова. Ко мне относился – с восторгом. Да вот, не успели мы с ним подружиться. Такая судьба.

Я ещё расскажу о Шатрове. Не всё ведь сразу. Согласны? Он ещё придёт в мои книги. Да и к вам он придёт. Стихами. Вечер. Молодость я вспоминаю. Тот октябрь, где листья слетали и под солнцем тёплым горели золотистыми ворохами...

II

В сентябре шестьдесят четвёртого года, Драконьего, щедрого на события разномастные, непрерывно, сплошной чередой, догоняющие, сменяющие, настигающие друг друга, чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий узел, морской ли, мирской ли, неизвестно, в энергетический, раскалённый, сияющий шар, вновь разжаться, с пружинистой силою, завитком спирали незримой, вмиг раскрыться цветастым веером удивительных совпадений и негаданных происшествий, сплошь и рядом идущих об руку с постигаемой не по книгам, но вплотную, слишком уж близко, чтоб не видеть её воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не запомнить её, таинственной и простой, как и всё хорошее и достойное в мире этом, без придумок ненужных, без баек непотребных, со слов чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, личной сызмала яви, ехал я на встречу с по-этом, широко известным в столичной многолюдной среде богемной, из отчаянных удалцов и героев, из общих любимцев, из птенцов, едва оперившихся, но уже подающих голос, из отъявленных сорванцов, из талантов, для всех очевидных, из певцов, молодых да ранних, так поющих, что их не заметить невозможно, и впрямь хороши, да и редкость это большая, уж тем более в наше время, не принять их нельзя, с приязнью, и, с восторгом, не полюбить, ведь богема на то и богема, чтоб уметь себя ублажать, чтоб уметь выделять своих, приглянувшихся ей не случайно и вписавшихся с ходу в неё, бравых, в доску своих парней, с перспективой необычайной на потом, – с Леонидом Губановым.

Восемнадцатилетний, всего-то, подчеркну это снова, сознательно, чтобы видеть давнишний свой возраст с башни многих прожитых лет, (восемнадцатилетний, уже, Боже мой, как летит моё время, вырывалось невольно встарь), – я давно ощущал себя взрослым.

Поколение послевоенное моё, всё разом, без лишней рефлексии, без промежуточного топтания, так, для порядка, на месте, чтобы подумать о чём-то сугубо практическом, полезном, трезвом и здоровом, с точки зрения наших родителей или школьных учителей, как-то слишком уж быстро, без всяких колебаний, сомнений, прикидок, размышлений неразумительных, стремительно повзрослело, и уступать завоёванные, с бою, с ходу, с налёту, позиции, нам и в голову не приходило.

Мы старались избавиться всячески, любым из возможных способов, от опеки, ненужной над нами, от назойливого надзора, от всего, что явно пахло заурядностью и обыденщиной.

Наставления и советы воспринимались в полной готовности отразить их, в сражение, в атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти усваивались, осмысливались нами, как нечто не очень-то приятное, исходящее из той бытовой обязаловки, той приглаженной и прилизанной, ненавистной нам положительности, той советской, всем понемногу, и достаточно, уравниловки, под присмотром и под контролем наблюдающих за порядком повсеместным в державе нашей неусыпно и неустанно, днём и ночью, почти незримых, нелюбимых, необходимых и всеильных каких-то, вроде бы, говорили с опаской, органов, или, может, властей кремлёвских, потому что не знали толком, где там органы, где там власти, что за органы, что за власти, что за птицы и что за страсти, кто их, в общем-то, разберёт, если знают всё наперёд, в светлом будущем обещают оказаться в кратчайший срок, но читают все между строк, да ещё голоса вещают зарубежные обо всём, что в стране у нас происходит, и тоска не людей находит, и с надеждой сплошной облом, говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на Руси, что за ужас во всё Союзе, поверять остаётся музе настроенья свои, уравниловки мы чурались, нивелировки, стрижки всех под одну гребёнку, строевой, командной послушности, шаг назад, шаг вперёд, на месте, вправо, влево, стой, запевай, поднимайся, в ружьё, на службу, в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в лифты, в тайгу, к облакам, глубже, выше, смелей, и так далее, от нелепой и неизбежной жизни в обществе долгой лжи, с малых лет до седых волос, и мещанской благопристойности, от которых мы, как умели, отбояривались, отмахивались, да и просто бежали – прочь из чуждой духу желанного, блаженного свободомыслия, ненавистной, обрыдлой нам, канцелярской, казённой системы.

Конечно, был я тогда очень молод, слишком уж молод.

Но я, сколько помню себя, всегда, по чутью, тянулся к тем, кто был старше меня и мог открыть мне однажды что-то важное для души, что-то новое, прежде неизвестное.

Добрых три года я мыслил самостоятельно, сам принимал решения и совершал поступки, многие из которых и теперь, посреди междувременья, представляются мне достойными, а порою даже значительными.

Разумеется, было немало промахов и ошибок, огорчений, разуверений, нелепостей всяких досадных, но возраст мой был таков, что, при отсутствии полном учителей и наставников, я вынужден был искать и сам находить всегда то, к чему влекло меня сизмала романтически бурное, грозное, иногда не на шутку опасное, но зато упоительно вольное, без оков, течение жизни, как мне думается, действительно удивительной и прекрасной.

Было мне от роду братцы, не просто ещё восемнадцать, но уже восемнадцать лет и семь дополнительных месяцев.

Тогда и эти, наперечёт, месяцы, очень любили счёт и тоже имели значение.

По причине быстрого, слишком или в меру, кто как считал, на авось полагаясь, взросления.

Тогда я уже добился поставленной за годя цели и поступил учиться на престижное, элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочими, уж во всяком случае стоящее и достойное отделение истории и теории искусств, это было главным, что меня привело туда, исторического факультета серьёзного заведения учебного, МГУ.

То есть стал, по-студенчески, вольно, по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-человечески, замечательно, жить в Москве.

Парижа, как я всегда в книгах своих подчёркиваю, у нас, к сожалению, не было, а вот Москва, распрекрасная столица странно-приимная, по счастью, у нас была.

И она звала, отовсюду, из различных мест многовёрстной, многозвёздной нашей страны, и тянула к себе столь властно, что противиться ей, столице, было всем нам уже невозможно, и она собирала вместе нас, вчерашних провинциалов, постепенно и неуклонно становящихся москвичами, привыкающих здесь обитать и работать, по-своему каждый.

Отовсюду в Москву съезжались люди творческие, азартные, для которых не подходили никакие мерки стандартные, те, которым хотелось общения настоящего и внимания, те, которые были отважны и к невзгодам готовы заранее.

И Москва принимала – всех.

И спасала – всех, без разбора.

Был возможен в грядущем – успех.

Он придёт ли? Пожалуй, не скоро.

А пока что – пиши, поэт!

А пока что – рисуй, художник!

Вот он, ясный вечерний свет.

Вот он, тихий осенний дождик.

Всё – для вас. Для таких, как вы.

Всё – для творчества. Для открытий.

Для незримых духовных нитей.

В этом – самая суть Москвы.

Я жил, как уже рассказывал выше, на Автозаводской улице, в старом, крепком, невысоком, с толстыми стенами и большими окнами, доме довоенной добротной постройки, отдалённо напоминающем упрощённый конструктивизм.

В обжитой коммунальной квартире у меня была, пусть и временная, ненадолго, да всё же своя, так хотелось мне думать, комната. Принадлежала она симпатичной московской теще генерала с необозримыми перспективами и возможностями, наперёд, на потом, Ивана Александровича Герасимова, начальника криворожского гарнизона, фронтовика, человека закваски крепкой, волевого, честолюбивого и способного на решительные, непредвиденные поступки, что сказалось несколько позже, когда он помог мне в беде, и отца моего приветливого одноклассника Сашу Герасимова.

Был в квартире и телефон, правда, общий, но всё-таки был, и его наличие радовало, а случалось, и выручало. Была, разумеется, ванная, просторная общая кухня.

Но главное в этом роскошестве – была у меня своя комната.

Почему-то приятно теперь мне о давнишнем пристанище этом, с добрым чувством, порой вспоминать.

Я учился в университете – и гордился этим. Студент!

Я уже ощущал себя москвичом – и это было, зачем такое скрывать, приятное ощущение.

И вот сегодня, сентябрьской порою, в час предвечерья, мне, москвичу новоявленному, надо было ехать на встречу с незнакомым, пока что, хорошим, наверное, человеком.

Я набросил свой синий плащ, байроновский, романтический, как хотелось мне искренне верить, или, проще, воображать, на плечо закинул ремень потёртой лёгонькой сумки, закрыл за собой плотные скрипучую дверь квартиры, быстро сбежал по ступенькам пропахшей всеми возможными, коммунальными, стойкими, запахами, щербатой лестнице вниз и вышел из темноватого подъезда в просторный двор, заросший большими, старыми, устойчивыми деревьями.

Прошёл мимо нашей булочной, мимо стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого сквера, к перекрёстку, затем перешёл дорогу и, торопясь, зашёл наконец в метро.

Там, бросив свой звякнувший пятак в щёлку пропускника, я спустился на эскалаторе к платформе, вмиг заскочил в вагон как раз подошедшего, сверкнувшего стёклами поезда и поехал в сторону центра.

Встречи тогда назначались нашей богемной братией в четырёх привычных местах: у памятника, с фонарями и цепями чугунами, Пушкину, у памятника Маяковскому, на углу в столице известного всем и каждому «Националя» и в уютном университетском дворе, со скамейками вдоль старой высокой ограды, с деревьями, со студентами оживлёнными, на Моховой, именуемом «психодромом».

Недавно сказал мне поэт, знаток московской богемной жизни, Саша Юдахин:

– С тобой, представь себе, хочет познакомиться Лёня Губанов.

Я, хоть и слышал уже, конечно, о нём, нарочно, удивляясь, вроде, такой информации, поднял брови:

– Кто это? Не припомню.

Юдахин сознательно выдержал небольшую, но, по его мнению, по-актёрски, эффектную, видимо, паузу и только тогда уж сказал:

– Самый талантливый, так считают разные люди, поэт молодой в Москве.

– Ну, это мы ещё посмотрим, кто же в Москве талантливее! – мгновенно отреагировал я.

– Нет, я ведь не утверждаю, говоря о Лёне, что он талантливее тебя, – поправился тут же Юдахин. – Сам ты очень талантливый.

Но ты-то в Москве недавно совсем. А Лёня москвич. Его уже знают здесь.

– И меня уже знают здесь, – сказал, сощурившись, я.

– Вы оба самые-самые талантливые в Москве, – обобщил, улыбаясь, Юдахин. – Я уже рассказывал Лёне о тебе. И другие ребята ему о тебе говорили. Он хочет с тобой познакомиться. Давай я вас познакомлю.

– Хорошо, – сказал я, – знакомь.

– Я тебе скоро, Володя, позвоню, – подытожил Саша. – Как только договорюсь с Лёней о вашей встрече, так сразу и позвоню. Жди моего звонка.

И вот, через день, буквально, Юдахин мне позвонил:

– Договорился. Где встречаемся? Прямо сегодня.

– Лучше всего – у памятника Пушкину. Так привычнее, – без раздумий ответил я.

– Когда? Говори конкретно.

– Вечером, в семь.

– Идёт.

Пришлось, ничего не поделаешь, мне собраться и ехать.

Кто такой Саша Юдахин – объяснять никому не надо. Поэт. Человек общительный. Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. Спортивный. Свой парень, во многих кругах и компаниях. Энергии в нём предостаточно. Все его знают – и он всех поголовно знает. Он в облаках не витает. Он трезв – и восторжен: публично. Всё складывается отлично. Публикации. Выступления. Путешествия. Впечатления. На коне он, это заметно. Потому и смотрит победно. Между тем, он раним, по-своему. Реагирует на обиды. Но – защитное что-то усвоено. И – привык не показывать виду. И когда-то, в года молодые, то же самое было. Всегда. Всё с него, словно с гуся вода? Вопросенья, тире, запятые, восклицанья. Судьба – впереди? Биография – ежеминутно? Что потом? Предсказать это трудно. Что за боль возникает в груди? Стихи его помню, задорные, из давних шестидесятых: «Я буду, мы будем выигрывать секунды, секунды, секунды!» – в молодёжном гвардейском журнале, – в тему, блин, как теперь говорят. А вот это нигде в печати почему-то я не встречал: «У реки берега – будто два утюга». Наверное, самиздатовское.

В центре столицы я вышел из метро и пешком поднялся вверх по улице Горького к Пушкинской, к месту встречи грядущей, площади.

Пришёл я туда ровно в семь часов, ни минутой позже, как мы и договаривались.

Возле памятника, опекушинской вдохновенной работы, Пушкину – меня, пришедшего вовремя, уже, с нетерпением, ждали.

Словно из-под склонённой в задумчивости головы Александра Сергеевича, из осеннего воздуха вышли и двинулись прямо ко мне две фигуры, одна высокая, и это был Саша

Юдахин, а другая значительно меньше ростом, так, небольшая совсем.

– Вот вы, ребята, и встретились! – торжественно произнёс Юдахин. Потом продолжил. – Познакомьтесь. Лёня Губанов! – представил он, с видом солидного, в политике поднаторевшего, со стажем большим, дипломата, этого невысокого, хмурого паренька. – Володя Алейников! – с пафосом, достойным ораторов греческих, представил меня он ему.

Поздоровались мы с Губановым.

Руки друг другу пожали.

Стоим себе – с Пушкиным рядом.

Смотрим один на другого.

И, почему-то, молчим.

– Ну, вот вы, ребята, друг с другом наконец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро подружитесь. А мне пора уходить, – сказал, что-то вдруг, негаданно, сообразив, Юдахин. – Дела у меня. Увидимся!

И он, кивнув на прощанье нам обоим, исчез в толпе.

В те времена москвичи и приезжие вечерами любили гулять по столице. В центре всегда былолюдно.

И раствориться надолго меж людей было вовсе не трудно.

Мы с Губановым, возле Пушкина, под склонённой к нам головою поэта, в шелесте листьев и отсветах загоравшихся всё гуще окрестных огней, стояли друг против друга и продолжали молчать.

Это напоминало, наверное, первую встречу доселе ещё не видавших друг друга, воочию, рядом, двух молодых, да ранних, конкурирующих меж собою, на войне и в мирное время, всё едино для них, полководцев.

Этакий бука-подросток, с чёлочкой, коренастый, сероглазый, в распахнутой курточке, в мятых брюках, в нечищенных туфлях, придирчиво, исподлобья, с прищуром, смотрел на меня.

На него я смотрел спокойно, без нервов. Подумаешь, фрукт! Ничего, погодим, пождём, что последует за молчанием.

Что он там башкой своей, с чёлочкой кривоватой, небось, надумал?

Явно ведь собирается что-нибудь взять да и выкинуть.

Видно по физиономии – вся уже напрыглась.

Ладно, переживём. И не таких видали.

Вдруг Лёня, скривив по-детски влажные, пухлые губы в язвительной, скользкой улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вообще и не здоровались, протянул мне руку и тоном официальным, холодным, с осознанием собственной значимости, отчётливо, жёстко изрёк:

– Леонид Георгиевич Губанов.

– Владимир Дмитриевич Алейников, – мгновенно парировал я и крепко пожал его руку.

Лёня с вызовом откровенным посмотрел в упор на меня – и опять протянул мне руку. И сказал, меняя подход, нараспев:

– Леонид Губанов.

– Владимир Алейников, – твёрдо, без эмоций, ответил я.

Лёня этак хитро сощурился на меня – и ещё разок протянул мне зачем-то руку. И сказал с хрипотцой:

– Леонид.

– Владимир, – сказал я спокойно, понимая, что это игра.

Губанов уже с любопытством посмотрел на меня – и вновь протянул мне руку свою, с длинными, гибкими пальцами, с грязными, как у школьника хулиганистого, запущенными, нестриженными ногтями, сказав дружески-любно:

– Лёня.

– Володя, – сказал я приветливо и взглянул ему прямо в глаза.

Губанов так широко, что шире некуда просто, улыбнулся, преображаясь, хорошея, меняясь к лучшему, и уже панибратским тоном, все приколы отбросив, сказал:

– Старик! Давай будем на «ты»!

– Давай! – согласился я.

– Слушай, а я давно про тебя, между прочим, знаю! – тут же сказал мне Губанов.

– И я про тебя, представь себе, знаю! – сказал ему я.

– Ты ведь в Москву с Украины приехал? – спросил Губанов.

– Из Кривого Рога.

– Откуда?

– Из Кривого Рога. Такой город есть в наших южных степях. Там я вырос.

– Теперь понятно.

– Что понятно?

– Там твоя родина.

– Посмотрите, какой догадливый! Ну, а ты-то москвич?

– Москвич.

– Сразу видно.

– Что тебе видно?

– То, что ты коренной москвич.

– Ты где-нибудь учишься?

– Да. Учусь.

– А где?

– В МГУ.

– А я чихал на учёбу. Я и среднюю школу, всего-то, не закончил! Бросил, и всё.

– Почему?

– Так. Долго рассказывать.

– Ну, как хочешь.

– Потом скажу.

– Сам решай, как тебе поступать.

– Володя! – сказал Губанов. Говор был у него московский, акающий, певучий. Он произносил: Ва-а-лодя. – А я про тебя ещё прошлой осенью слышал.

– Неужели правда? – невольно удивился словам его я.

– Ну да! Ты же здесь, в Москве, жил прошлой осенью, долго?

– Конечно, – сказал я, – жил.

– Ну вот. Мне ребята из разных наших литобъединений говорили, что появился новый талант. Это ты.

– Надо же, как бывает! – сказал я. – А о тебе я только сейчас, в сентябре, от знакомых, впервые услышал.

– Почитаешь стихи? – спросил меня, в лоб, напрямую, Губанов.

– Можно, – сказал я. – Но где?

– Пойдём, хоть куда-нибудь. Куда – всё равно.

– Пойдём.

И мы с Губановым двинулись вместе по улице Горького, в сторону Маяковки.

Оказался Лёня Губанов – парнем, времени зря не теряющим.

После того, когда мы, разговаривая, миновали пустоватую, без поэтов, там читавших стихи свои толпам слушателей, отовсюду, на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся неизменно, чтобы в действе участвовать, площадь Маяковского, Лёня вдруг предложил мне, с места в карьер:

– Слушай, давай дружить!

– Давай! – согласился я.

Приближались мы к Белорусской.

Лёня вновь ко мне с предложением:

– Слушай, давай-ка выпьем!

– Давай! – согласился я.

Мы зашли в гастроном какой-то.

Наскребли, еле-еле, денег на одну бутылку портвейна. Бутылку я положил, для спокойствия, в сумку свою.

Двинулись – вместе – дальше.

Шли по вечерней улице куда-то – и разговаривали.

И оба уже понимали, что друг с другом нам – очень даже интересно, так вот, свободно, слово за слово, непринуждённо, как старинным знакомым, с приятнью не случайной, с доверием полным к собеседнику, к новому другу, на пути, неизвестно, куда, непонятно, зачем, протянувшемся перед нами, куда-то за грань постижения, говорить.

Мы прошли грохочущий мост за Белорусским вокзалом и находились уже где-то возле улицы Правды.

Не мешало бы нам и выпить, раз вино у нас есть с собой.

Мы свернули вдвоём с тротуара в непомерно просторные, как-то буржуазно, не посоветски, расположенные, без всякой экономии места, на скудной, но и ценной столичной земле, за большими, просто громадными, вроде каменных сундуков, заселёнными впрод, под завязку, москвичами, глухими домами.

Там зашли почему-то в подьезд.

Открыли бутылку портвейна.

Выпили оба, по очереди, вдумчиво, прямо из горлышка.

– Хорошо пошло! – дал оценку действию, с видом бывалым, Губанов.

– Нормально! – сказал я, без всяких славословий. – Вино как вино.

В подьезде было темно и подозрительно тихо.

Мы закурили. Присели рядышком на ступеньки.

– Тяпнем ещё! Давай! – предложил, поразмыслив, Лёня.

– Пожалуй, можно! – прислушиваясь к тишине, согласился я с ним.

Снова глотнули по очереди из горлышка. Закурили.

В бутылке нашей вина, мерзкого, надо заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, содержащего нужные градусы для советских людей, напиток, оставалось уже маловато, в аккурат по третьему разу приложиться, и дело с концом.

(Я заметил сразу, что выпитое в смехотворных дозах вино Лёню явно взвинтило. Нет, изменило. Стал он каким-то непривычно, страдальчески нервным. Беспokoйным. Словно вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороться не в силах он был. Покориться же этому – всё же не желал. Примириться с ним – тоже. Притворяться, кривляться – негоже. Этот страх и манил, и губил. Движения – резкие, дёрганные.

Паяц? Юродивый? Мим?

В голосе хрипловатом – новые, незнакомые, вибрирующие, зудящие, сверлящие изнутри горло, солоноватые, с привкусом горьким, нотки.

Зрочки разрослись, расширились до пугающей черноты.

Это было заметно вблизи даже здесь, в полутёмном подьезде.

Тогда я ещё не знал, что, сколько бы там вина, пускай хоть совсем немного, не говоря уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь действовал на него, как наркотик, и это сказывалось, мгновенно, закономерно, с убийственным постоянством, всякий раз, на его поведение, нередко, почти всегда, приводя к печальным последствиям.

Но вскоре уже, к сожалению, пришлось мне об этом узнать).

Лёня, меж тем, не забыв об основном своём желании, попросил меня:

– Почитай, Володя, стихи!

– А ты? – спросил я его.

– Я потом. Сразу после тебя.

– Хорошо! – согласился я.

Не больно-то подходящим для чтения наших стихов местом был этот тёмный, пустой, незнакомый подьезд, но выбирать было не из чего.

Я начал читать свои стихи тогдашние – новые для меня в ту сентябрьскую пору, недавно совсем написанные, начал читать их Лёня – и незаметно увлёкся.

Губанов слушал меня с таким напряжением страшным во всём его крепком теле и с таким вниманием острым на бледном его лице, с таким нутряным, наружу рвущимся, жгучим огнём в чернеющих непоправимо расширенными зрачками, как-то чутко и слишком пристально распахнутых на меня, из-под скомканной чёлки, глазах, что почему-то стало мне за него тревожно.

Я прочитал всего-то несколько свежих вещей.

И читал-то негромко, да только случилось, конечно, то, что я предвидел заранее.

На звук моего, негромкого, но кем-то всё же услышанного сквозь массивные стены, голоса – с треском открылась дверь одной из ближайших квартир – и оттуда с негодованием вывалились в подъезд разъярённые жители дома:

– А ну прекратите шум!

Тотчас же, вслед за первой, открылась, под крики граждан чумных, и соседняя дверь:

– Безобразия! Хулиганство! Полицию надо вызвать!

Губанов сорвался с места и, подёргиваясь, заорал на возмущённых граждан:

– Суки! Слушать стихи гениальные не мешайте! А ну, заткнитесь!

– Лёня, тише. Кричать перестань. Пойдём! – я силком еле вытащил его из подъезда во двор.

Вслед нам бурной лавиной неслись оголтелые вопли жильцов.

Кое-как увёл я Губанова в темноту, в глубину двора.

Его буквально трясло.

Никак он не мог успокоиться.

Всё твердил:

– Помешали, гады!

– Тише, Лёня, – сказал я. – Молчи. А то жильцы, чего доброго полицию запросто вызовут. Нам это ни к чему. Всё, успокойся. Быстрее уходим отсюда. Вперёд!

Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы уйти подальше да поскорее из опасного места, свернули в ближайшую арку, и выбрались в соседний безлюдный двор.

– Есть вино? – спросил у меня, шевеля бровями, Губанов.

– Есть ещё, – показал я бутылку.

– Выпьем?

– Выпьем!

– Давай?

– Давай.

Мы приложились к бутылке уже по третьему разу.

Больше, при всём желании возможно, пить было нечего.

Губанов, чиркая спичками, ломая их то и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то до сигареты, по-блатному как-то, ухватисто, заковыристо, закурил.

Потом посмотрел мне в глаза и убеждённо сказал:

– Ты гениальный поэт!

– Ладно уж, Лёня, – сказал я. – Ты прямо как император всероссийский, титулы всякие играючи раздаёшь.

– Ты гений! – с пафосом явным сказал Губанов. – Я знаю.

Ну что за категоричность?

Откуда? Зачем? Почему?

Простецкая непривычность?

Нервичность? В толк не возьму.

Вот уж, право, замашки богемные.

(Похожие на дворовые).

Столичные? Или туземные?

Во всяком случае – новые.

Звук, превращённый в знак.

Я сказал:

– Хорошо, если так.

Губанов, поёжившись, выпустил сигаретный белёсый дым из обеих ноздрей, затем, исподлобья, с прищуром стрелецким, с молодецким, зубастым вызовом, с вопросительным знаком, вместе с восклицательным, в серых глазах, взглянул на меня и спросил:

– Можно, я теперь почитаю?

– Читай! – согласился я.

Здесь же, в бездне столичного вечера, во дворе на улице Правды, стал он, заметно волнуясь, читать мне свои стихи.

И, честно, как и когда-то в прошлом, вновь сознаюсь: сначала эти стихи не очень-то мне понравились.

Длинные. Даже слишком. Неровные. Грубоватые.

То несколько строчек искорками вспыхнут среди сумбура, то снова гул хаотичный, досадный, а то и провал.

Человек-то явно талантливый, даже очень, это уж точно.

И тон у стихов особый.

И лицо есть своё. И голос.

Да, собственно, всё в них – его, не чьё-нибудь там, а губановское.

Но что же меня останавливает?

Что мешает их сразу принять?

Непохожесть их, очевидная, на то, что сам я писал?

Так она и должна ведь быть, эта самая непохожесть.

Грубоватость их? Ну и что!

Нет, не знаю. Пока – не знаю.

Но что-то мешает мне принять их безоговорочно.

И ничего, пока что, видать, не поделаешь с этим.

Губанов это заметил.

Чутьё у него, врождённое, импульсивное, обострённое, на всё вообще вокруг, сразу, оптом, было отменным.

Да и реакция тоже, на любое движение извне.

И тем более, разумеется, – на то, как люди, которым доверился, вроде бы, он, раскрылся, пускай и на время, перед ними, воспринимают, в основном, по традиции, с голоса, не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его стихи.

Обо всём этом я узнал не тогда, но уже очень скоро.

Он, покашляв незнамо зачем и смутившись, прервал своё чтение.

– Потом почитаю. Успеется. Ладно? В другой раз.

– Как знаешь! – сказал ему я.

Да, задело, конечно, Губанова то, что я, новый друг его и соратник вполне реальный, точно так же, как сам он, признанный половиной Москвы, недавно, да буквально только что, ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не выразил ни эмоций своих, ни восторгов, не назвал его с ходу гением, как в богеме всегда называли, не признал его безоговорочно.

Это чувствовалось, я видел, в том, как вёл он себя тогда. Наохлился весь. Насушился.

Шёл, руки в карманы, вразвалочку.

Головой, кручинясь, покачивал молчаливо. А то и вздыхал.

Потом он сумел собраться.

У нас опять завязался простейший, так, между прочим, по пустякам, на ходу, но всё-таки разговор.

Мы с Губановым, разговаривая, что ли, сквозь осень, сквозь шелест лиственный, сквозь огни столичные, вместе, шаг за шагом, слово за словом, напрямик, в разверстую даль.

Добрались до метро «Динамо».

– Так мы и до меня дотопаем! – Лёня сощурился, закуривая. Сквозь дымок сигаретный продолжил фразу: – Я-то на Аэропорте живу. Родители дома. Думаю, не помешают. Может, зайдём ко мне? Потолкуем. Чайку попьём. Ты не переживай. К себе добраться успеешь. Дом наш – неподалёку от метро. Каких-нибудь пять, ну, может быть, десять минут неторопливой ходьбы – и ты на метро успеешь до закрытия. Ну, зайдём?

Я взглянул на свои часы – и сразу же спохватился:

– Нет. Мне домой пора. Завтра с утра – занятия.

– Понимаю! – сказал Губанов.

Мы стояли с ним возле метро. Стояли, два парня, один – повыше ростом, другой – пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. Познакомились. Подружиться в дальнейшем – удастся ли? Поживём – увидим. Посмотрим. Всё возможно. Ведь невозможное, как сказал не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. Невозможного в мире нет. Есть – сквозь тьму приходящий свет.

Поздний сентябрьский вечер, с его лилового-чёрным, плотным куполом неба и жёлтыми, золотистыми, звёздчатыми, узорными, широкими всплесками листьев на всех окрестных деревьях, обволакивал нас прохладой.

Пора было нам расставаться.

Мы с Губановым обменялись телефонами и адресами, тут же, на месте, вписав их в свои записные книжки.

Губанов, похоже, маялся.

Моя – совсем ведь недавно, и, главное, так неожиданно, – реакция на его стихи, которые всем в Москве, кого ни возьми, ни припомни, решительно всем, нравились, нет, какое там, вызывали восторг, восхищение, не давала ему покоя.

– Володя! – сказал он мне. – Давай-ка снова увидимся. Прямо завтра. Пойдём куда-нибудь. Пообщаемся. Что, лады?

– Завтра никак не могу, – сказал я. – Завтра я занят. А вот послезавтра – пожалуйста.

– Так можно приехать к тебе? – спросил, оживая, Губанов.

– Позвони мне вначале, заранее, обязательно. И приезжай. Днём, лучше всего. Послезавтра.

– Договорились! – сказал, пожимая мне руку, Губанов.

Мы зашли в метро. Попрощались. И разъехались в разные стороны.

Такова наша первая встреча.

Вроде рядом она – и далече.

Камертонная. Чистый звук.

(Время – птицей из наших рук).

В недрах осени – добрый знак.

(Весь, как есть, вокруг – Зодиак).

Изначальная, беспечальная.

(Вряд ли будет потом – прощальная).

Встреча – присказка. Встреча – быль.

(Над столицей – звёздная пыль).

Встреча – с речью. Запев. Пролог.

(Драмой будущей станет – СМОГ).

Вскоре было у встречи нашей продолжение закономерное.

Судьба, видать, постаралась, распорядилась так, чтобы всенепременно, без лишней тяготины, без отговорок непотребных, без промедления несуразного и ненужного, только так и никак иначе, потому что нельзя другому поступить никому из нас, хоть и время есть прозапас, чтоб к вискам не хлынула кровь, мы с Губановым встретились вновь.

...Через день позвонил Губанов.

– Старик! Володя! Привет! Как дела? Это я, Лёня. Ну что, скажи, приезжать?

Я сказал ему:

– Приезжай!

Через час, не позже, Губанов появился в моей комнате.

Был он тих, отрешённо-задумчив.

Некий свет, непривычный, таинственный, проступал на его мальчишеском, чуть припухшем, бледном лице.

И глаза его – были грустными.

Напрямик, откровенно, сразу же, без ненужных ему предисловий, каким-то вмиг изменившимся, отчасти звонким, торжественным, отчасти не слишком уверенным, акающим по-московски, с хрипотцою дворовой, голосом, но так доверительно, искренне, так просто, и в то же время почти с надрывом, с душой, моляще, Губанов сказал:

– Я стихи написал. Почитаю. Послушай. Тебе посвящается.

Я смотрел на него – и видел в нём, пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, разительную внутреннюю перемену.

Что-то с ним, безусловно, произошло, непонятное, а может и небывалое, за то короткое время, покуда мы с ним не виделись.

Я сказал ему:

– Почитай!

И приготовился слушать.

Губанов одним рывком не встал, а взлетел с места.

Он стоял посреди моей коммунальной просторной комнаты.

Свет, прозрачный и золотистый, плавно льющийся из окошка, освещал его побелевшее, без единой кровинки, лицо.

Зрачки его снова расширились и стали угольно-чёрными.

Но не было в нём обычной, обострённой, нервической взвинченности.

Было – спокойствие. Странное.

Обречённое. Роковое.

Но – невиданно светлое. Тихое.

Величавое. Доброе. Чистое.

Не спокойствие даже, но – глубь, за которой встаёт благодать.

– Осень, – сказал он грустным, нежданно дрогнувшим голосом. И посмотрел мне в глаза. – Посвящается это Владимиру Алейникову. Моему – навсегда – закадычному другу.

Потом взглянул за окно, за которым стоял, как в сказке, с теремами своими воздушными, с облаками поодаль, сентябрь.

Сощурился вкось на свет.

И стал, волнуясь, читать.

я – Здравствуй, осень, – нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я – иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осияют. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо голы в изразцовые коленца. Дайте капельку повить молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.

Губанов закончил читать – и опять посмотрел на меня.

Был услышанным я потрясён.

И тут же предчувствие страшное чего-то непоправимого, что непременно должно произойти с Губановым, резко сжало мне сердце.

Что это? Боже Ты мой!..

– Лёня! – сказал я ему. – Поразительные стихи.

– Тебе понравилось? Правда? – просиял, расцветая, Губанов.

– Очень понравилось. Правда. Настоящие это стихи. Долговечные. Чувствую это. Понимаю. И очень твои, – сказал ему я уверенно, поскольку так и считал.

– Всё я давным-давно, поверь, про себя знаю! – с горечью, с откровенностью, предельной и запредельной, вдруг вымолвил, словно выплеснул наболевшее что-то, Губанов. – Проживу я ровно, запомни, тридцать семь от-

пущенных мне лет. Умру в сентябре. Вот в этом стихотворении всё про это и сказано.

– Господь с тобой, Лёня! Ты что? – воскликнул я. – Что за страсти такие ты говоришь? Да живи ты ещё сто лет! Зачем на себя самого ты каркаешь? Так нельзя. С такими вещами не шутят!

– Эх! – махнул Губанов рукой, как стрелец, идущий на плаху. – Со мной всё давно уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно переживёшь. Вспомни когда-нибудь, в будущем, когда не будет меня, этот день в сентябре. Всё я знаю про себя наперёд, всё знаю...

Нелегко было мне, после всех этих Лёниных откровений, сохранять, пусть и внешне, вынужденно, с беспокойством в душе – спокойствие.

Долго мы с ним тогда говорили.

За окошко смотрели. Курили.

Вечерело. Кружилась листва.

И росло – продолженье родства.

С тем, что есть. С тем, что будет потом.

С тем, что дремлет во сне золотом.

С тем, что явью издревле зовётся.

С тем, что песней потом остаётся.

Песней – сказкой. Чья речь хороша.

Песней – былью. И песней – предань-

ем.

Песней – правью. И песней – страдань-

ем.

Всем, с чем с детства сроднилась душа.

Он открылся мне искренне, весь.

Он пришёл ко мне – сам. Выходит, надо было ему прийти не куда-нибудь, а сюда.

Он сказал мне тогда важнейшие для него, сокровенные вещи. И рад был, что я его лучше других понимаю.

Он читал мне свои стихи – и они открылись мне тоже, сами, причём по-иному, нежели день назад.

Я понял, насколько, при всех оговорках, они органичны.

Понял я, что принимать их следует мне такими, какими они явились в мир, который, при всей неразберихе своей, смешанной с красотою, как и поэзия, в нём живущая, был и есть.

Всё, что необходимо, стихи эти сами скажут за себя, скажут, раньше ли, позже ли, но обязательно скажут.

И это его, пронзительное, сквозь время ко всем обращённое:

– Государь! Не веди казнить! Вели слово молвить!..

И голос его, взволнованный.

И взгляд его, грустный, горестный.

И ясный свет в сентябре...

И, хотя в шестьдесят четвёртом даже до роковых тридцати семи лет жизни, на которые он сознательно закодировал сам себя, времени, для всего, что нужно человеку в молодости, казалось ещё так много, его мне уже сейчас, немедля, хотелось спасти.

Обречённость свою, в сознание намертво, прочно вошедшую, врезавшуюся в сердце,

проникшую в душу, в кровь медленным ядом впитавшуюся, точно груз, непомерно тяжёлый, от которого не отделаться просто так, ничего не выйдет, потому и тащи, терпи, надрывайся, брат, не пытайся даже в мыслях освободиться от навязанной, кем – неведомо, и когда – неизвестно, жертвенной и мучительной этой ноши, от вериги этой чудовищной, он с собою всегда носил.

В свои восемнадцать – знал о себе он самое страшное.

И всё-таки он – жил.

И – живущий – писал стихи.

Может, всё ещё обойдётся?

Может, к лучшему всё изменится?

Может, Бог его всё-таки милует?

Что сказать? Не нужны здесь слова.

В этот день сентябрьский, с пронзающим ткань романтики прежней, с кружевом из наивности, как игла, диковатым, пока что, но явным, даже больше того, неизбежным ощущением грядущей драмы и трагедии, вслед за ней, началась моя дружба с Губановым.

Впереди была – осень. И всё, что ждало меня в ней.

Впереди была – молодость. Кто мне вернёт её ныне?

Впереди было – всё. Только лучшее. Как у России.

Впереди были – годы, где речи пришлось выживать.

III

...И на свечу смотреть уже больней, чем некогда – на солнце; без оглядки бежать – куда? – с собой играя в прятки, уйти в пространство? – шурясь меж теней, живою плотью влагу раздвигая, душой живою ждать, перемогая тоску – итог невысказанных дней, но ждать – чего? – когда она, другая придёт пора? – я время постигаю, которое чем дальше, тем родней.

Читали тогда – при свечах.

Образ свечи то и дело загорался в наших стихах.

У меня:

– Наше время – свеча и полынь.

У Губанова:

– Но стоит, как свеча, над убитым лицом серый конь, серый конь моих глаз.

Свеча.

Над убитым лицом.

...Лёня Губанов стремительно, так, что его не догнать никогда, ни за что на свете, никому, никаким врагам, кто бы это ни был, менты, кагебешники или, может, все возможные силы зла, как бы нынче ни назывались, как бы ловко ни маскировались, но мгновенно распознавались, даже если им несть числа, весь – воплощённое движение, неудержимого, ввысь,

весь – безоглядный, отчаянный, молниеносный порыв, а то и прорыв, куда-нибудь, в неожиданное измерение, в зазеркалье, за грань реальности, в новый век, в параллельный мир, вбегает, но так, что, похоже, взлетает, а то и возносится, топоча по ступенькам лестничным, а порой проносясь над ними неким сгустком энергетическим, так, что искры в подъезде сыплются с плеч его или с крыльев, может быть, и какие-то вспышки странные остаются надолго в воздухе на безумном или осязаемом как спасенье от наваждения, от ненастья и отчуждения, ставшем отзвуком убеждения, сокровенном его пути, – скорее, как можно скорее, – ко мне, потому что жду я и снова его пойму я, – вверх, на четвёртый этаж.

Некогда ждать лифт. Незачем. Не до этого. Какой там лифт, если сам он так о себе сказал:

– Скучая, любим и ведом, в России, где морды биты, я должен твоим поэтам двенадцать копеек лифта!

Его несёт – а вернее, ведёт неясное что-то, трудновообразимое, видимо – невыразимое, но что же? Да кто его знает! Ведёт и ведёт. Ну и пусть!

Он врывается в дверь – с разгона. Или нет, конечно – с разлёта. Беззаконной кометой, что ли? Колобок из сказки? Ну вот! Сразу – сказка. Но как – без сказки? Несмотря на сплошные встряски, он действительно весь – оттуда. Это очень ему идёт.

Но кто же он? Это уж пусть гуртом – в грядущем – другие гадают.

Себя он оставил им – «на потом». Быть может, и распознают.

Вот он – стоит передо мной.

Гений. Смогист. Мальчик больной.

Парень дворовый. Почти хулиган.

Кореш богемный. Губаныч. Губан.

То ли подросток, то ли старик.

Что в нём за сущность? Плач? Или крик?

Что в нём за тайна? Что за печаль?

Сроду не скажет ведь! Как его жаль!..

Белое, словно гипсовое, мертвенное, застылое, свечой бессонной ночью сгоревшее и оплывшее, бездонное, отчуждённое, в безмолвную глубину ушедшее, пугающее, бескровное, отверженное лицо.

Маска? Нет, на лбу – поволока ледяного, давнего страха.

В серых усталых глазах – тусклый отсвет смятения.

Взмокшая чёлка взъерошена, ворот белой рубахи торопливо, рывком, расстёгнут, чтоб свободнее было дышать.

– Всё кончено, всё кончено. Стихи мои повенчаны. На пальцах черви кольчатые, над головой бубенчики. Сады опали яблоком, пропахли мысли порохом. И Муза – в платье ярком, и рифмы – звонким ворохом. Лежу седым преступником, кричу слепым наставником:

меня не арестуете и Музу не заставите петь! Не для вашей радости да не из вашей волости. Ну а пила для храбрости – чтобы не сгинуть в подлости.

Лёня предельно взвинчен. Дальше – просто уж некуда. Настолько, что может, кажется, взвиться пружиной ввысь.

Длинные пальцы его то судорожно сжимаются, то с усилием распрямляются, чтоб сжаться мгновенно вновь.

Губы упрямо сомкнуты, обиженно, как-то по-детски, очерчены, в уголках их видна застывшая кровь.

Ноздри буквально трепещут. Щёки небритые дёргаются в нервном, беспомощном тике. Спазматически ходит кадык.

Он шумно вдыхает в себя воздух, и лишь постепенно спадает со всей его небольшой, но крепкой фигуры чудовищное напряжение, сходит зыбкая тень отчаянного движения, оголтелой, безумной гонки.

Тогда он устало закуривает, смахивает ладонью нависшее вдруг невесомое колечко сизого дыма.

От кого он бежал? От чего?

Он отмалчивается. Ну и пусть.

Куда он бежал – знал. Ему спокойно со мной.

Мы сидим с ним в пустой квартире, в тишине, в наступивших как-то незаметно и быстро сумерках, совершенно одни – и молчим.

Потом говорим с ним зачем-то что-то совсем простое – о житье-бытье, о погоде, о понятном, вполне земном.

Губанов не сразу, конечно, а так, по чуть-чуть, понемногу, оживает. Ну, слава Богу! Существует – в яви своей.

Видит оставшийся в старом, тёмном, в потёках, подсвечнике оплывший, слегка изогнутый огарок жёлтой свечи.

Зажигает привычно спичку, подносит её к фитильку.

Долго, пристально, весь уйдя в свет мерцающий, смотрит на пламя.

– А на столе свеча горит, горит Душа моя, не тает, и Ангел с Богом говорит, и Бог над Ангелом рыдает.

За окнами – там, где страхи его донимали, – темнеет.

Губанов, совсем по-домашнему, негромко читает стихи.

– И Бог над Ангелом рыдает...

В начале семидесятых Губанову тяжело было жить, работать, просто – дышать, ощущать себя полноценным, востребованным, как ещё недавно и, казалось ему, так давно, человеком, ну а тем более – знаменитым в стране поэтом, нарасхват забываемым ранее, днём и ночью, в любые компании, чтобы там он стихи читал и народ опять поражал, чтоб его на руках носили, обожали, ценили, чтители, подражали ему, желали познакомиться, подружиться, угощали вином, хвалили, по Москве на такси возили, всё, что он вытворял, прощали, без

конца его вырвали, вызволяли из всяких бед, потому что был он поэт, а не так, не хухры-мухры, словом, были к нему добры и внимательны все подряд, с кем он шёл сквозь рай свой и ад, с кем пудами ел вместе соль, пил, бузил, воспевал юдоль, уж такую, какой она, видно, свыше ему дана, – без своего, по его разумению, детища – СМОГа.

Ему, общительному, остро нуждающемуся в реакции окружающих на стихи, живущему – действием, соборностью, перекрыли все пути, по которым он мог двигаться, обрубили все нити, связывающие его с миром.

Может, и не все, поскольку так вот запросто, пусть даже исходит это от властей, эти нити все разом никак не обрубишь, и связь с миром прекращается лишь тогда, когда человек умирает, а Лёня, слава Богу, был тогда ещё жив, и какие-то из нитей, которые не заметили, проглядели зоркие, бдительные, жестокие структуры, откуда исходили всевозможные запреты, оставались, были целы, ведь иначе и быть не могло, но так ему казалось, так – мнилось.

Впадая в отчаяние, в тоску, в свои сложные, крайне тяжёлые, состояния, периодически охватывавшие плотным кольцом его, мятущегося, мечущегося по Москве, по знакомым домам, или же прячущегося непонятно где от всех и всего, переживающего свою боль наедине с собственной душой, а потом с большим трудом, буквально из кусков, подолгу, внутренне собираясь, он всеми силами стремился сохранить за собой положение лидера московской богемы.

– Ни веры, ни надежды, ни любви, стеклянные свидания в пыли. Лицо своё на зеркале возьми. Казни меня, казни меня, казни. Наверно, это в чёрных городах с монетою и чёлка молода. Наверное, но только не покой – с того бы света я ушёл к другой. Ты знаешь, ты сегодня – береста. Последнюю причёску перестань. У гробика иконы убери. Ни веры, ни надежды, ни любви! Я на рассвете жуткого письма, но утром, к четырём часам, весьма... Я вспомню прорубь в трёх верстах от глаз, и эта про...дь мне не даст отказ. Я завяжу на шее гордый шарф, я попляшу, я поплюю на шар – на шар земной, который груб и скуп, где спят зимой и где весной умрут, на шар земной, где у больных мука, на шар земной, где у здоровых – мука, на шар земной, где мне твоя рука напоминает уголок и уголь, где спят, как жнут, перебегая ять, где яда ждут, как ждут любимых мять, где день и ночь в халате пьянь и лень, где тень, как дочь, а если дочь – как тень, картонный раб, и на ресницах тушь, в конторах драк служивых десять душ, в моментах птиц – еврейская печаль, в конвертах лиц – плебейская печать. Работай, князь! Дай Бог вам головы, всё та же грязь – управы и халвы. Надейся, раб, на трижды гретый суп, оденься, наг, и жди свой Высший Суд. Солгите жён, дабы пришлись на вкус, над платежом не размышлял Иисус. Я

наклонность над разрубью мойей – «О, будь ты проклят, камень из камней!..». Где вечно подлость будет на коне, а мы, как хворост, гибнем на огне. Когда, земной передвигая ход, разучатся смеяться и плошать, я – то зерно, которое взойдёт, не хватит рук, чтобы меня пожать. Ну а пока крепи меня, лепи. Ах, как же тянет спать да спать в гробу – ни веры, ни надежды, ни любви – я написал на белоснежном лбу!..

Но времена изменились.

Изменились они очень сильно, как-то вдруг, для многих – стремительно, для немногих – закономерно, и были они – другими, чем те, к которым привыкли все мы, то есть – родные, крылатые шестидесятые, с их молодостью, и храбростью, и радостью, вовсе не странной для нас, потому что она была нам вполне по возрасту, по силам, тогда безмерным, по нраву, тогда крутою, по многим ещё причинам, для нас дорогим и важным, – теперь же, мы понимали, настали для всей богемы иные совсем времена.

Никто и не думал отрицать наличие его громадного дара.

Никому это и в голову бы не пришло. Делать это бессмысленно, и такое вот лобовое, прямолинейное отрицание обычно сводится к абсурду и не лучшим образом, если вспомнить о разумности подобных выпадов, характеризует всяческих злопыхателей. Поскольку дар есть дар, и он, да ещё такой, как у Лёни, вообще крайне редок, и сам за себя говорит, и существует, несмотря ни на что, а часто и вопреки всему, что хотело бы его погубить, унижить, окутать завесой замалчивания, – то он, будучи, по природе своей, жизнестойким и жизнетворным, сам себя ещё и защищает.

Просто – жить стало сложнее, и сложность эта поначалу озадачивала, хотя, вскоре к ней притерпелись, но она ощущалась как изрядная тяжесть, для большинства непривычная, и утрата былой лёгкости в отношениях оказалась невосполнимой ничем, и уже вселяла в души тревогу по поводу возможной утраты свободы, и требовала напряжения всех человеческих сил, – и далеко не всегда удавалось общаться столь же интенсивно, как прежде.

Да и усвоение духовных ценностей – занятие, согласитесь, настолько важное, что тут и соваться с вопросами и советами нечего, – было делом сугубо индивидуальным.

Ещё во многом следовало разобраться, многое передумать, находя для себя верные ориентиры и в странноватой, зыбкой действительности, пока что не устоявшейся, дрожжевой, и только начинающей преподносить сюрпризы и, с изуверской расчётливостью и актёрской привычкой к выразительным паузам, постепенно, снимая маску, показывать истинное своё лицо, – и, конечно же, в области творческой.

Это требовало неторопливых ритмов.

Лёнины же ритмы, нервические, импульсивные, с надрывом и перебором, для не-

которых становились тяжелы, а то и невыносимы.

Губанова это обижало. Ему, не привыкшему к любого рода запретам и отказам, донельзя избалованному богемной, шумной, щедро сдобренной выпивкой и похвалами, двойственной, в общем-то, славой, об уровне которой он, с самого начала своего взлёта и в дальнейшем своём кружении по мистическим кольцам столицы, на удивление трезво заботился, – казалось это, прежде всего, проявлением зародившегося и уже непрерывно растущего человеческого невнимания.

– Этой осенью голою, где хотите, в лесу ли, в подвале, разменяйте мне голову, чтобы дорого так не давали. И пробейте в спине мне, как в копилке, глухое отверстие, чтоб туда зазвенели ваши взгляды... и взгляды «ответственные». За глаза покупаю книжки самые длинные, баба будет любая, пару чёрных подкину ей. За такси очень ласковое, шефу с рожею каменной я с презреньем выбрасываю голубые да карие. Ах, копилушка-спинушка, самобраная скатерть, мне с серебряной выдержкой лет на пять ещё хватит. За глаза ли зелёные бью зелёные рюмки, а на сердце влюблённые все в слезах от разлуки. Чтоб не сдохнуть мне с голоду, ещё раз повторяю – разменяйте мне голову, или зря потеряю!..

Груз собственных, сверхнасыщенных эмоциями, пронизанных пульсациями времени, озарённых вспышками прозрений и гнетущих его предчувствий, полных щемящего лиризма и эпического размаха, диковатых, сумбурных и таких оголённо-подлинных, стихов – оказывался порою, в прямом смысле слова, несносным для него.

Это не было напечатано, в книгах ли, в периодических ли изданиях, как и полагается, как и надо бы по-хорошему, по-людски, да к тому же ещё бы и вовремя, – то есть не жило отдельной, особой, уже ни в чём не зависящей от автора, жизнью, в которую мог бы, наверно, войти настоящий, хороший читатель, друг поэта, неведомый или знакомый ему, но всегда возникающий в жизни печатного слова.

Это было записано на бумаге, в любимых Лёней больших тетрадах, наподобие амбарных книг, его характерным отчётливым почерком, так, что каждая буква в строке существовала и вроде бы рядом с другими, и отдельно, сама по себе, как и сам Губанов, заметим, – или же просто, без всякой записи, держалось в голове, и вспоминалось навязчиво, ежесекундно, и томило его, тревожило, а не просто слегка волновало, – нет, его это мучило, жгло, – и он чувствовал потребность кому-то это прочитать, чтобы этот «кто-то» проникся прочитанным, понял его.

– И буду я работать, пока горб не наживу да и не почернею. И буду я работать, пока горд, что ничего на свете не имею. Ни пухлой той подушки мерзкой лжи, ни жадности плясать у вас на теле, ни доброты – похваливать

режим, где хорошо лишь одному злодею. Ни подлости – друзей оклеветать, ни трусости – лишь одному разбиться, ни сладости – по-бабьи лопотать, когда приказ стреляться и молиться. И буду я работать, словно вол, чтоб всё сложить и сжечь, что не имею. И как сто тысяч всех Савонарол кричу – огня, огня сюда немедленно! В плаще, подбитом пылью и золой, пойду лохматый, нищий, неумытый по пепелищам родины другой, как тот весёлый одинокий мытарь. И буду я работать, пока гор не сдвину этих трупов, что зловонят, и буду я в заботах, как собор, пока всё человечество зло водит за ручку, как ребёнка, и, шутя, знакомую даёт ему конфету – ах, Бога нет, прелестное дитя, и Бога нам придумали поэты. Но есть, есть Страшный Суд, и он не ждёт, не тот, который у Буонаротти, а тот, что и при жизни кровь с вас пьёт, по щёчкам узнаёт вас при народе. Ах, что вам стыд, немного покраснел, но кровоизлияние – не праздник. Да, в врачей вам хватит при казне, как вам хватило дров при нашей казни. Но буду я работать, пока гол, чтоб с царского плеча сорвать мне шубу, когда уже зачитан приговор и улыбается топор не в шутку. Но буду я работать до тех пор, пока с сердец не сброшу зло и плесень. Ах, скоро, скоро вас разбудит горн моих зловещих, беспощадных песен!..

Каждой клеточкой существа своего ощущал он, что его намеренно загоняют в угол, сознательно и жестоко лишают возможности дышать, но не желал с этим наваждением смириться.

Коренастый, губастый, взлохмаченный, то ли этакий богатырёк сказочный, то ли Емеля, то ли Иванушка, но ему, во всяком случае, вполне подошло бы музейное, старинное, не-большого, по меркам нынешним, размера, воинское облачение, – да и вообще, как любил он подчёркивать, со значением и мальчишеским самолюбованием, приводя приятную для него и лестную аналогию, такого же роста, как Стенька Разин! – боец, вождь, он снова страстно мечтал оказаться во главе своего воинства.

Но проявлять активность – да и просто-напросто рыпаться, возникать, слишком часто, больше положенного, напоминать о себе, и особенно предпринимать какие-нибудь, смогистского толка, скандальные акции, вроде многолюдных демонстраций, чтений в известных своей демократичностью научно-исследовательских институтах, вроде Курчатовского, и так далее, – то есть, выражаясь грубее и резче, мозолить глаза властям, – ему многозначительно и категорично, чтобы знал, что предел есть любому терпению, не рекомендовали.

– Благодарю за то, что я сидел в тюрьме, благодарю за то, что шлялся в жёлтом доме, благодарю за то, что жил среди теней и тени не мечтали о надгробье. Благодарю за свет за пазухой иглы, благодарю погост и продавщицу за то, что я без паюсной икры смогу ещё

поплевка прощаться. Благодарю за белизну костей, благодарю за роковые снасти, благодарю бессмертную постель, благодарю бессмысленные страсти. Благодарю за серые глаза, благодарю любовницу и рюмку, благодарю за то, что образа баюкали твою любую юбку. Благодарю оранжевый живот своей судьбы и хлеб ночного бреда. Благодарю всех тех, кто не живёт, и тех, кто под землёю будет предан. Благодарю потерянных друзей и хруст звезды, и неповиновенье. Благодарю свой будущий музей, благодарю последнее мгновение!

Он зачастил в психушки.

О, эта чудовищная, псевдоврачебная, совдеповская затея, эти предприятия по передельванию здоровых людей в законченных инвалидов!

Слишком уж много моих приятелей прошли через этот ад, потому и есть у меня должное о нём представление.

Сам я – чудом его миновал. Повезло. Слава Богу, что – так. Но хватало мне встарь нервотрёпок и на воле, без всяких психушек, и ещё неизвестно, что хуже, и не хочется сравнивать их, потому что и то и другое – элементы системы одной.

Лёнина эпопея с психушками – затяжной, сплошной, откровенный мрак.

Помню, в середине шестидесятых ещё, в первый раз я поехал его навестить в больницу Кащенко. Привёз ему продуктов немного – чтобы поел, пачку чаю индийского – чтобы пил в своё удовольствие, стопку бумаги и авто-ручку – чтобы стихи писал, маленький томик Хлебникова – самый распространённый тогда, из малой серии «Библиотеки поэта», – чтобы читал.

И Лёня был тогда парень хоть куда!

Он выбежал ко мне такой оживлённый и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха.

Порывисто, весело, с широчайшей улыбкой во всё лицо, с озорным, немного лукавым огоньком в широко раскрытых серых глазах, обнял меня. Потом, по привычке стол-ичной своей, чего я не очень-то любил, почел-ломкался.

И, сразу, с места в карьер:

– Старик! У меня всё в порядке. Ну подумаешь, мать сюда посадила! Здесь все врачи меня любят. Стихи мои любят. Я здесь рисую. Пишу. А когда попросят, врачам и медсёстрам стихи читаю. В общем, лафа! Ну, побуду здесь некоторое время, сколько там полагается. Думаю, что недолго. Зато отдохну. Витаминчиками подлечусь. А потом и отпустят меня восво-яси. И снова буду на воле.

Довольный такой, оптимистичный, что я прямо диву давался, глядя на него, так оживлённо повествующего мне о своей расчудесной дурдомовской жизни, – и это на фоне больничных корпусов, палат, наполненных то истошно вопящими, то стонущими, то молчаливо глядящими перед собою людьми в измятых халатах, блёклых стен, решёток на окнах, то и

дело проходящих мимо с каменными лицами врачей, каких-то грязных кастрюль, мисок и чанов, затхлой вони из кухни, шаркающих по полу подошв, тусклых электрических ламп, бьющихся в стёкла мух, паутины в углу, треснувшей штукатурки на потолке...

Да... Курорт. Дом отдыха. Санаторий.

А Губанов мне:

– Мы тут и подаём, иногда. Если кто пронесёт с собой бутылку. Володя Высоцкий лежал здесь. Выписали его недавно. После запыля в себя приходил. Мужик что надо! Мы с ним подружились. Выйду отсюда – в театр к нему пойдём, на Таганку. Он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоём, разговаривали. И он, представляешь, всё время просил меня почитать ему ещё разок. Ну, я, конечно, читал. И, ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него – как он слушает? А он всегда расчувствуется, взбудоражится, и даже слёзы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это стихи так стихи! Жалко, что уже свалил он отсюда. А то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили. И я с ним к бутылке прикладывался. Не жизнь, а малина!

Я поглядывал по сторонам – и особой малины вокруг что-то не замечал.

А Губанов мне снова:

– Здесь Володя Яковлев лежит постоянно. Врач мне горю его работ показывал. У них тут целый музей. Творчество психов. Живопись и графика. И моих рисунков там полно. Володя, как только ляжет сюда в очередной раз, так сразу и рисовать начинает. У него и краски с собой, и бумага. Вина он не пьёт, ты знаешь. А курит много. Мне врач вчера говорил: «Яковлев дымит, как паровоз, глотает лекарства, молчит – и только и делает, что рисует. А работы раздаривает. Кто хочет, то их и берёт». Эх, поздновато я сюда залёт! Яковлев незадолго до меня выписался. А то я его разговорил бы. Может, и нарисовал бы меня. Художник-то он гениальный. А врачи о нём пишут, что псих. И репродукции с его работ в научные книги свои помещают. Вот, мол, какой у них имеется давний пациент. Врач меня стихи иногда переписать для него просит. Я для него по памяти уже много чего переписал. Здесь хорошо! Можно с людьми пообщаться. И я не скучаю. Да ещё и пишу свои новые вещи. Ничего, скоро выйду. И тогда нагуляюсь по полной программе. И ещё такое придумаю, что Москва изумится!..

Я смотрел на Губанова, слушал его – и вздыхал.

Это были – ещё цветочки.

Ягодки начались потом. И довольно скоро.

И тогда, по мере нарастания случаев, когда его вдруг, ни с того ни с сего, вроде бы, вырывали насильственным образом, выхватывали, изымали из привычной для него, сумбурной, переполненной происшествиями и впечатлениями жизни, унижая тем самым, придавливая, чтобы не рыпался, чтобы заглох,

и в очередной раз помещали в психбольницу, где закармливали спецлекарствами, притупляя сознание, подавляя волю, старательно разрушая личность его, и кошмару этому надо было как-то сопротивляться, чтобы выжить, и надо было суметь остаться самим собой, – пребывание там вовсе уже не представлялось ему занятым, беззаботным, почти безоблачным времяпровождением в доме отдыха.

Психушки стали, если так можно выразиться, теневой, очень мало известной любителям его стихов, львиную долю его времени в совокупности своей сожравшей, стороной нелевой и хаотичной губановской жизни.

Сознательно, чтобы чего-нибудь не натворил, его упрятывали туда в годовщину пятидесятилетия советской власти, и до этого, и после этого, и множество раз, и не могло всё это пройти бесследно для его здоровья.

– Я провёл свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли разрубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мёртвой бумаге живые слова не продам. И не вылечит тень на горе, и не осветлит храм, на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча. Я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча.

Со своим больным сердцем и никуда не годными нервами он был, тем не менее, на редкость вынослив.

Мог мобилизовать волю. При случае проявлял чудеса героизма. Или, наоборот, являл собою образец терпеливости. Заводился – с пол-оборота. Срывался – так уж на всю катушку, безоголдно, без тормозов. Держался – на упрямстве.

Алкоголь впрок ему не шёл. Пьянел он быстро, терял контроль над собой и мог выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее, набузить, надерзнуть, влипнуть в историю.

– Грею ли обледеневшее имя, водку ли лью в раскалённые губы? Строится храм батраками моими – каждую буквой и доброй, и грубой. Иконописцы ли жизни лишились, шмякаясь вниз и за хмель, и за гонор? Ведьмы ль на карих бочонках съезжались? Казнь полоскала волшебное горло. Только ли врётся и только ли пьётся, только ли нервы в серебряных шпорах, и голова под топориком бьётся, словно бы сердце в развалинах школы. Только ли гений, скорее глашатай и оглашенный по чёрному счёту, очень мне жалко, не я ваш вожатый – всё, кроме Бога, послали бы к чёрту!

Но его любили. И некоторые – пусть и не все – любили его по-настоящему.

Ему всё – или почти всё – пусть и поворчав, для порядка, пообижавшись, подувшись, – прощали.

Он словно нёс в себе, как в одном до-нельзя спутанном какими-то коварными духами клубке, вместе с дичайшими выходками и

малоприятными, к сожалению, а потому и с помощью и с помощью сплетниками, обсуждаемыми охотно и часто сторонами его, уж такой, какова она есть, нестандартной, так скажем, натуры, – и раскаяние, и смирение.

– Моя звезда, не тай, не тай, моя звезда – мы веселимся, моя звезда, не дай, не дай написать или застрелиться. Как хорошо, что мы вдвоём, как хорошо, что мы горбаты пред Богом, а перед царём как хорошо, что мы крылаты. Нас скосят, но не за царя, за чьи-то старые молебны, когда, ресницы опала, за пазуху летит комета. Моя звезда, не тай, не тай, не будь кометой той задета лишь потому, что сотню тайн хранят закаты и рассветы. Мы под одною кофтой ждём нерукотворного причастия и задыхаемся копьём, когда дожди идут не часто. Моя звезда – моя глава, любовница, когда на плахе я знаю смертные рубахи крахмаленные рукава. И всё равно, и всё равно, ад пережив тугими нервами, да здравствует твоё вино, что льётся в половине первого. Да здравствуют твои глаза, твои цветы полупечальные, да здравствует слепой азарт смеяться счастьем за плечами. Моя звезда, не тай, не тай, мы напумели, как гостинцы, и если не напишем – Рай, нам это Богом не простится.

Необузданный нрав его – не природное свойство характера, но скорее – от вызова, от желания защитить замечательную детскость, всегда жившую в нём и бывшую его сущностью.

– Скоро, одиночеством запятнанный, я уйду от мерок и морок слушать зарифмованными пятками тихие трагедии дорог...

Угловатый подросток, да и только.

И в жизни, и в стихах.

– Ах, меркнут сумерки кругом. Ох, мелом судороги крестятся. Как семиклассник, я влеком коричневой спиной лестницы...

Задиристый паренёк из московских дворов.

– Я – Дар Божий, я дай Боже нацарапаю...

Школьник, из числа способных, но хулиганящий.

– Я сам твой первый второгодник, чьи дневники никак не тонут...

И – глубоко, по-своему, верующий человек, заядлый, по своим задачам и возможностям, книголюб, благодарный, тоже по-своему, не всегда, к сожалению, а в прямой зависимости от сиюминутного своего состояния, от каприза или порыва, то чаще, то реже, слушатель тех людей, от которых мог, или мог бы, он почерпнуть нечто важное для себя.

– Стыжусь ваших глаз, боюсь неприятно. Спаси меня, Спас мой Нерукотворный!

Соединение противоположностей как-то запросто, по-домашнему, и свободно в такой степени, что отдавало почти полным отсутствием контроля над собственными поступками, утратой чувства меры, а то и откровенной, без малейшей даже маскировки, распушенностью, что я не без оснований ставлю в вину развра-

щавшей его, преувеличенно, с примесью сладкой лжи, захваливавшей, спаивавшей, сбивавшей с толку, то есть выполнявшей нехорошую работу, словно от тёмных сил зла получившей задание сгубить человека и усердно из выполнявшей, вполне определённой, псевдобогемной прослойке в столичном богемном роении, – правда, и сам Губанов был далеко не подарок, и слишком уж часто себе позволял такое, чего позволять не следовало, но дар у него был, и дар этот был настоящим, и порою, спохватываясь, то сам Лёня отчаянно боролся за него, за его сохранение, то дар его, точно смилостивившись, выручал его, вывозил, в силу своей подлинности, а следовательно, и живучести, но годы шли и шли, и развитие губановское то делало рывок вперёд, обнаруживалось в новом качестве, и этим радовало, то сызнова притормаживалось, и это огорчало, но вера в движение оставалась, и происходил наконец новый рывок, и дар его, укрепившись, воспрянув, расцветал, как бывало когда-то, в молодости, в лучшую, самую сильную, ошеломляюще яркую пору его творчества, – да, что и говорить, соединение противоположностей, разнополярность многих его черт, настроений, сторон характера, в непрерывном брожении общем, кипении, с доведением до высшей точки нагрева, со звинчиванием и разрушением всех нервов, живых клеток, частиц своего естества, с маниакальной потребностью постоять, ещё и ещё, «у бездны на краю», побывать на грани гибели или прозрения, заглянуть за черту, прогуляться в зазеркалье, совершить путешествие на тот свет, а потом и вернуться обратно, как ни в чём не бывало, непрерывно, то по-детски, любопытствуя, то по-юношески, с озорством, то с беспечностью вневозрастной, на авось, то сознательно, целенаправленно, играть с огнём, испытывать себя всё в новых, желательных экстремальных ситуациях, проверять себя на прочность, разуверяться в чём-то, а потом во что-то уверовать, и жить, жить, жить, жадно, стремительно, пламенно, и спешить, и куда-то лететь, и взлетать над землёй, воспарять, и обрушиваться неожиданно вниз, на ту же самую землю, падать, с болью, с мукой, с увечьями, и при этом смотреть в небеса, и вставать, и мчаться вперёд, и, очухавшись, рваться ввысь, и всё это называлось особым соединением разных противоположностей, – и всё это, всей этой кипенью, действительно уживалось, уживалось в нём, как и в неустанно воспеваемой им России, у которой, по его ещё юношескому и с годами только крепнущему убеждению, «всё впереди, всё впереди».

Сейчас, в наше с вами, свободное, или псевдосвободное, может быть, но такое, какое уж есть, и какое отпущено всем, сложноватое, как и всегда, невесёлое, в общем-то, время, но зато и такое, в котором вдосталь всяких полезных открытий и действительно замечательной, многоликой и многозначной, настоящей, живой новизны, как-то слишком охотно и много

рассуждают, все поголовно, кто поглубже, кто по верхам, о всякого рода энергиях.

Конечно, они есть. Как им не быть – в мире? Само бытие, весь космос, жизнь в нём – сплошные энергии. И слово, и мысль, и музыка, и живопись, и любовь, и грусть, и радость – энергии. Время, а с ним и пространство, и память – тоже энергии. Везде, во всём и всегда, вокруг – сплошные энергии. Круг из энергий. Коло. Шар. Дом. Свет. Дух. И – путь. Везде на пути – энергии. И – свет созиданья. Так. Энергии бесконечны. И воздействие их все мы ощущаем всегда на себе.

Да и мистическое нынче в почёте.

Но оставим в стороне шарлатанство и паразитирующих на модной теме невежд.

Посмотрим на дело серьёзно.

Губанов – поэт мистический, отрицать это невозможно. И – поэт очень русский.

То древнейшее, ведическое, что было у него в крови, порой смутно, порой отчётливее осознаваемое, но врождённое, диктующее образ и строй, постоянно прорывалось наружу, соединяясь с другими, усвоенными им в процессе духовного развития, традициями, в первую очередь с православной верой.

В этом сплаве роли кремня и огнива играли интуиция и вдохновение.

Губанов был прирождённым импровизатором. Надо опять подчеркнуть эту грань его дара и напомнить об этом.

Когда в нём вспыхивал огонь творчества, он, будучи буквально за минуту до этого совершенно другим, весь, моментально, всем своим существом, почувывшим приближение чуда, преображался.

Глаза, дотоле какие-то мутные, словно спящие, вдруг ярко вспыхивали, изнутри, из глубины своей, странным, соединяющим жар и влагу, пламенем, а потом, высветляясь всё более, наполнялись какой-то загадочной, межзвёздной, что ли, материей, или энергией, и стояли, как две звезды, посреди бесчасья, во мгле, на краю беды, и сияли.

В его движениях тотчас же появлялась, я бы сказал, раскованная, вне логики, рисковая сосредоточенность.

Стихи свои зачастую записывал он почти набело, – позже, и то неохотно, вносил иногда в текст некоторые, всего лишь, мелкие уточнения.

Когда же он сам начинал править и упрощать собственные стихи, наивно надеясь, что, может быть, на родине их издадут, – и эта самоцензура и редакторство доморощенное настигали его, бывало, уже в поздние годы его, пусть и дико это звучит, потому что был он тогда, относительно, пусть, но молод, ну – за тридцать, подумашь – возраст! – что ж, возможно и так, для кого-то, я подумал, но не для него, про себя-то он всё уже знал, – когда же свои стихи переписывал он самолично, подчеркну ещё, без принуждения, по причине, для всех неясной, ум за разум, наверно, зашёл или нечто вроде затмения было с ним, такое быва-

ет, – когда же свои стихи, повторю, он перерабатывал, – то всё из них исчезало, что было его, губановским, и получался некий блёклый, невыразительный, так, с отдельными блёстками, но без горения, текст.

Поэтому надо Губанова издавать – лишь в подлинном виде. То, что было записано им – в озарении и прозрении.

Сивилла, наверно, тоже не заботилась вовсе о стиле.

Ведические певцы вряд ли правили свои гимны.

Лирники украинские не брали в расчёт пунктуацию.

Орфею и в голову не приходило работать над текстом с редактором.

Вспомним Хлебникова – «и так далее...»

Следует учитывать громадное воздействие стихов его на людей, особенно при чтении их самим поэтом, впадающим в транс, причитающим, плачущим, кличущим, вещающим, – да и при чтении текстов с листа, когда работает их поле, – чрезвычайно сильное.

Губанов не только сам обладал мощной энергетикой, но и обострённо-чутко воспринимал все проходящие к нему извне «сигналы» времени и пространства.

Был проводником между высшей силой, руководящей его творчеством, и своими слушателями или читателями.

Не зря сказано: на всё воля Божья.

Губанов и был выразителем воли Божьей.

Делал это, как умел. Не всегда осознанно. Потому что в состоянии транс сознание спит, а бессознательное создаёт образы. Сказанные и записанные в таком состоянии слова – не результат лабораторно-дотошной работы, но – озарение, ясновидение, пророчество.

Абсолютно всё, что предсказывал Губанов, с Россией уже произошло. И происходит дальше.

По счастью, в лавине трагизма брезжит спасительное, отзывающееся не лживым современным практицизмом, а несокрушимым ведическим разумом «всё впереди».

Лёня, Лёнечка! Лёнька. Губаныч.

Заводила, упрямец, страдалец.

Я ещё расскажу о тебе.

А пока что оставайся на старом нашем снимке – молодым, в луче своей ранней и горькой славы.

Смотри и с фотографий начала семидесятых – уже другим, изменившимся, намаявшимся, набравшимся житейского опыта и не желающим сходить с дистанции; оставайся и на них – поскольку предстоит тебе ещё столько пережить и столько сказать, чтобы оставить всем нам свой образ времени.

Оставайся в стихах своих – навсегда.

– И сгорев, мы воскресаем Вознесенья
вешним днём. Небо с синими глазами в сердце
плещется моём.

Узнаваем ты в любой строчке.

И свеча твоя – не погасла.

И лицо твоё – не убито.

Свечи не догорели, ночи не отцвели, –
вправду ли мы старели, грезя вон там, вдали?
Брошенная отрада невыразимых дней! Может,
и вправду надо было остаться с ней? Зову слу-
жа и праву, прожитое влечёт – что удалось на
славу? Только вода течёт. Только года с водою
схлынули в те места, где на паях с бедою сты-
нет пролёт моста. Что же мне, брат, не рваться
к тайной звезде своей? Некуда мне деваться –
ты-то понять сумей. То-то гадай, откуда вьётся
седая нить, – а подоплёку чуда некому объяс-
нить.